

Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок



М.Ф. Ершов

**Литературный текст
как историко-этнографический источник:
по материалам произведений писателей
Югры, Урала и Южной Сибири**

Ханты-Мансийск, 2015

ББК 63.3(253.3-6х)

УДК 930:372.8

Е80

Ответственный редактор:

В.И. Сподина, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

Рецензенты:

А.Г. Киселев, доктор исторических наук, профессор кафедры общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВПО «Гжельский государственный художественно-промышленный институт»;

Е.В. Косинцева, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

Ершов, М.Ф. Литературный текст как историко-этнографический источник:

по материалам произведений писателей Югры, Урала и Южной Сибири. Ханты-Мансийск: 2015. 208 с.

Монография посвящена анализу художественных литературных текстов. Эти тексты рассматриваются как историко-этнографические и исторические источники о прошлом нашей страны второй половины XIX – начала XXI вв. Историческая критика данных источников осуществлена с использованием теоретических положений ряда гуманитарных наук: источниковедения, литературоведения, исторической психологии, социальной антропологии. Междисциплинарный характер исследования позволяет выявить латентные исторические процессы, недостаточно отображенные в иных видах источников.

Книга предназначена для историков, этнологов, преподавателей гуманитарных дисциплин, учителей общеобразовательных школ, краеведов, всех тех, кому интересна и небезразлична судьба Югры, Сибири, России.

*Рекомендовано Редакционно-издательским советом
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок*

ББК 63.3(253.3-6х)

УДК 930:372.8

ISBN 978-5-98100-179-6

© Ершов М.Ф., 2015

© БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.	
1.1. На грани Сибири: местные реалии у бытописателей	28
1.2. Творчество К.Д. Носилова: между христианством и свободой	49
1.3. Социально-психологический анализ в орнаментальной прозе	71
ГЛАВА 2. ИСТОЧНИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА	
2.1. Провинциальные истории социалистического реализма	97
2.2. Пространство человека в советской литературе	123
2.3. Историко-этнографические сюжеты авторских сказок	143
ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА	
3.1. Неотрадиционализм в прозе Е.Д. Айпина	150
3.2. Контрфактическое моделирование и исторические реалии	183
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	205

ВВЕДЕНИЕ

Одна из важнейших проблем в современных исторических дисциплинах заключается в следующем: насколько познаваемо наше прошлое? Способны ли сохранившиеся исторические источники отобразить некогда бывшие события и насколько адекватно их отображение? Нет сомнения, что приращение общего количества источников с их последующей научной критикой в принципе должно содействовать положительным сдвигам в познавательных процессах. Но это только в принципе. В реальности простое количественное увеличение их массива ведет к увеличению исследовательских вопросов. Нередко неискушенный исследователь буквально «тонет» в море сухих исторических сведений, которые оказываются негативным фильтром на пути его познания.

Следовательно, важны не только объемы исторической информации, но и её неоднородность, разноплановость. Оптимально, когда цифровые данные массовых исторических источников возможно перепроверить (подтвердить, дополнить или опровергнуть) материалами, почерпнутыми из источников, не всегда пригодных к математической обработке. Расширение источниковой базы будет особенно эффективно за счет включения в научный оборот художественных литературных текстов. Данное включение предполагает осмысление той информации, которую они содержат и уточнение исследовательских методов. С одной стороны, использование художествен-

ных текстов имеет давнюю историографическую традицию (вспомним фольклор, летописи, выборочное цитирование материалов литературных произведений), а с другой, за исключением текстов из истории Древней Руси, они фактически не считаются полноценными источниками.

Выделим основное противоречие, которое здесь существует: объективным знаниям о прошлом, к которым стремится история как наука, противостоят субъективные образы, порожденные фантазией их создателя. В различиях между образом и объектом присутствует одна психологическая особенность. В реальности возникновение и существование объекта всегда предшествует образу. Образ прямо или опосредовано нуждается в своём материальном носителе. Для появления образа также нужен наблюдатель – человек. Однако в человеческом сознании образ обычно первичен и доминирует над объектом. Власть образа настолько велика, что многие люди и не пытаются преодолеть его господство.

Тот иллюзорный мир, который некритично порождают образы, сплошь и рядом оказывается намного комфортнее, чем действительно существующая жизнь. Так, например, люди, приходя в цирк, субъективно желают стать свидетелями волшебства. Поэтому покупка билетов на представление не означает получение истинных знаний о закрытых особенностях профессии и жизни цирковых артистов. Но художественная литература вполне способна предоставить о цирке вполне реальные сведения. Достаточно вспомнить великолепные произведения А.П. Чехова, А.А. Куприна, В.В. Кунина, Дины Рубиной.

Проблема заимствования исторической наукой сведений из художественной литературы до недавнего времени решалась стихийно. Но то, что использовалось *de facto*, в академической среде долгое время не признавалось *de jure*. Только в последнее время частью отечественных теоретиков была осознана возможность признания художественных текстов в

качестве исторических источников [1; 2]. Данное обстоятельство ведет к постановке ряда вопросов. При каких условиях допустимо рассматривать художественное литературное произведение как полноценный исторический (историко-этнографический) источник? Является ли его историко-ведческое использование вынужденной мерой, призванной утолить исследовательский голод? Каковы функции такого источника в научном процессе? Способен ли литературный текст служить только иллюстративным материалом для оживления излишне сухого текста или он обладает куда большими информационными возможностями?

Недостаток методических обоснований по использованию произведений художественной литературы вынуждает нас обратиться к предварительным историко-ведческим комментариям. Нет сомнений, что между художественным произведением и историческим источником существуют принципиальные различия. Главное из них то, что художественная литература – это авторская версия, субъективное моделирование тех или иных событий, вне зависимости от того, имели ли они место быть в реальной действительности. Исторический же источник, напротив, претендует на объективное отражение событий прошлого. Однако помимо различий присутствуют и точки соприкосновения. Перечислим некоторые из них. Художественное произведение и исторический источник в равной мере относятся к сфере культуры. Они созданы людьми, передаются от поколения к поколению, и в них всегда присутствует тот «глоток свободы», то творческое начало, без которого человек немислим.

Поэтому даже документальный исторический источник всегда несет в себе субъективные свойства, ведь он тоже сотворен человеком. Это не значит, что от него следует отказаться. Необходима историческая критика данного источника. Научные методики, разработанные историческим источниковедением и близкими к нему гуманитарными дисциплинами,

позволяют выделить полезную историческую информацию. Точно также требуется создание методик, ориентированных на работу с художественными литературными текстами. Ролан Барт считал, «что упорное нежелание историков литературы переходить от литературы к истории говорит нам о следующем: литературное творчество обладает особым статусом; мы не только не можем относиться к литературе как ко всем прочим продуктам истории (никто этого всерьез и не предлагает), но, более того, эта особость произведения в известной мере противоречит истории; художественное произведение по сути своей парадоксально, оно есть одновременно знамение истории и сопротивление ей». Вывод классика постструктурализма достаточно категоричен: «для изучения литературы требуются две дисциплины, различные и по объекту, и по методам изучения». По его мнению, кроме изучения литературного творчества, необходимо изучать литературную институцию с помощью исторического метода «в самой современной его форме» [2, 210].

Необходимо также учитывать отсутствие непреодолимых границ между художественным произведением и историческим источником в его «чистом» виде. Источник и художественное произведение обладают способностью взаимно перевоплощаться. Во многом это зависит от позиции исследователя. Так у конкретного артефакта допустимо анализировать преимущественно его историческую, или, напротив, художественную основу. Существует, наконец, множество творений, обладающих двойственными свойствами: и исторического источника, и художественного произведения. Взаимное переплетение объектов человеческого творчества оказывается, таким образом, не просто случайным, а неизбежным. «Реальности, составляющие мир, – прозорливо замечает поэтесса Ингеборг Бехман, – нуждаются в нереальном: лишь исходя из него они могут быть познаны» [3, 6].

Любое творчество тяготеет к исповедальности, в нем непременно задействовано биографическое начало. Сам же автор всегда ограничен собственным присутствием в исторической конкретике. Таким образом, творческое самовыражение, в конечном итоге, оказывается и отображением определенной эпохи с господствующими в ней нравами. Вопрос заключается лишь в степени возможного использования авторских текстов и их адекватной интерпретации. Иногда процесс их познания крайне затруднен, иногда, напротив, художественный текст «открыт» для использования: в ряде деталей он может быть максимально точен в изложении произошедших событий.

Нельзя забывать, что художественная литература, особенно отечественная, проникнута историзмом. Об этом свидетельствуют приемы литературоведческих исследований. Многие из них имеют сходство с историческими разысканиями. Можно назвать, в частности, биографический, культурно-исторический, социологический и компаративистский методы [4]. Примечательно, что еще один метод – культурной герменевтики – опирается на положения немецкого философа XX в. Х.-Г. Гадамера о том, что подлинный смысл текста или художественного произведения никогда не может быть исчерпан полностью и что приближение к нему – бесконечный процесс [5; 6]. Эти положения перекликаются с источниковедческими постулатами об информационной неисчерпаемости всех исторических источников [7, 124-125].

При изучении общества и даже отдельного человека невозможно обойтись без использования значимых образов. А они порождаются сознанием, в том числе и посредством литературных текстов. Образы могут быть как типичными, так и специфическими. Литература стремится к типизации, социологизму, традиции и, одновременно, для неё важны приоритеты в раскрытии новых тем, оригинальность, неповторимые художественные достоинства. Кажется, что в последнем случае литературный текст должен быть отброшен из сферы исто-

рических источников. Однако такой вывод неверен. «Парадоксальным образом, главная помощь, которую литература может оказать истории, состоит как раз в её «сомнительности», неточности, в самом качестве фантазии, поскольку литература – специфический историографический источник, главное в котором – зафиксированные представления об истории. А также формы исторического сознания» – обоснованно заявляют М.А. Литовская и Е.К. Созина [8, 62].

Литература с её сомнительностью и неточностью оказывается не только «историографическим источником». Диапазон её возможностей гораздо шире. Кроме представлений об истории (как правило, неофициальных) она отображает повседневное существование социума и характерные для него психические процессы, выявляет особенности менталитета, этические и эстетические пристрастия, биографические моменты у конкретных лиц. Альтернативные точки зрения, характерные именно для литературы, создают многомерное видение исторического процесса, а зачатую и реабилитируют наше прошлое. В ряде случаев ускользающий субъективный «искаженный» образ оказывается много важнее для понимания истории чем строго официальный документ. Так, например, массовым идеологическим штампам советского прошлого противостояли «тихие» частушки, анекдоты, бардовские песни и иные неофициальные формы общественного сознания, без которых наше понимание истории XX в. будет неполным и ущербным. Их важность нельзя недооценивать.

Историческая наука с неизбежностью несет в себе не только поиск объективной истины, но и наши оценочные суждения. Помимо фактологии исторические дисциплины отвечают на «вечные» человеческие вопросы о добре и зле. И это роднит их с нравственными основаниями художественной литературы. Более того, эмоциональные оценки, аналогии лишают исторические дисциплины академической сухости и вновь возвращают нас к образному ряду. Отстраненность и консер-

ватизм гуманитарных академических наук частенько оказываются препятствием для осознания специфики конкретного человеческого существования.

Антропологи А. Гупта и Дж. Фергюсон приводят характерный пример. В 1956 г. на бенгальском языке была опубликована «Река под названием Титаш» Адвайды Маллабармана. Роман представляет собой описание повседневных дел, обрядов и ритуалов индусской рыболовецкой касты мяло, живущей на территории современного Бангладеш. Это литературное произведение оказалось гибридным сочетанием этнографических деталей и обычного повествования. Его ценность возрастает еще и потому, что громадные политические перемены, охватившие субконтинент, уже тогда вели к разрушению привычного уклада. А. Гупта и Дж. Фергюсон задаются следующим вопросом: «Если антрополог может «написать» этнографию на основе материалов, собранных 20-30 лет назад во время своей докторской полевой работы, почему нельзя «туземцам» «написать» этнографию, основанную на их жизни?».

Выводы, к которым пришли эти антропологи, следующие: «Вместо того, чтобы рассматривать антропологов как обладателей уникального знания и понимания, которыми они могут делиться с «обыкновенными людьми», мы настаиваем на том, что антропологическое знание сосуществует с другими формами знания. Политическую задачу мы видим не в том, чтобы «делиться знанием с теми, кому его недостает, а в том, чтобы выстраивать возникающие благодаря различиям в позициях связи между разными видами знания и проследивать нити для возможных союзов и единых целей» [9, 27-32].

И, наконец, в последнее время произошел фактический отказ от прежде незыблемого положения, что история не знает сослагательного наклонения. Контрфактические исторические исследования явочным порядком уже получили право на существование сначала на Западе, а теперь и в России [10]. Фактически художественная литература также есть своеобразное

контрфактическое моделирование человеческих отношений. Авторский произвол создает в ней условный водораздел между литературным вымыслом и реальными историческими персонажами и событиями. Художественный вымысел с одной стороны искажает объективное знание о прошлом, а с другой – активно формирует массовое историческое сознание и, в ряде случаев, компенсирует дефицит исторической информации. Запоздалое обращение историков к художественным текстам в целом закономерно. Их интерес к литературе непосредственно связан с историческими этапами развития индивидуализма. Ранее историческая наука последовательно развивалась как деяния богов, героев, царей, народов, классов. Её характерной чертой был телеологизм. Исторический процесс считался прямым проявлением объективных идеальных или материальных закономерностей. Жизнь заурядного человека особой ценности не представляла. Соответственно и не было социального запроса на её изучение в прошлом.

Положение начало меняться при переходе сначала к индустриальной, а затем и постиндустриальной волне цивилизации. Резко возросли материальные вложения в социальное воспроизводство человека. Цена и качество человеческого материала заставили общество обратить внимание на внутренний мир индивида, его настроения, психику, субъективные переживания. Началась замена обезличенного конвейерного производства индустриального общества креативными сотрудниками общества информационного. Она вела к радикальному изменению психологии, что также содействовало дальнейшему прогрессу в сфере исследований.

Историки вынужденно повернулись лицом к человеку. Со второй половины XX в. наблюдается отход от анализа социально-экономических закономерностей к изучению специфики конкретной человеческой жизни. Востребованной стала интеллектуальная история, постмодернистские подходы, использование лингвистических и историко-психологических методов.

Теперь стал важен сам человек, его мысли, чувства, душа, повседневное существование, ближнее внешнее окружение. На передний план вышли история социальных групп (предпринимательства, горожан, военнослужащих, учителей и учеников, провинциалов, маргиналов; гендерная история). Определенная закрытость тех или иных субкультур потребовали нового инструментария, пригодного для изучения локальных блоков противоречивой и разнородной информации.

Антропоцентризм современного гуманитарного знания далеко не случаен. Господствующие ранее способы исследования преимущественно статистических материалов свои возможности во многом исчерпали. Формальные данные, «цифра», сыграв свою положительную роль, все более дополняются неформальными началами, свободой исторической научной интуиции, чувством, равнодушием к нашему прошлому, хорошо обоснованному историческими источниками. Осознание ценности каждой человеческой жизни усиливает внимание к «частностям». Это быт, повседневность, менталитет, психические процессы, общественное сознание, имидж, символика.

Для исторического и музейного сообществ стал максимально интересен образный ряд, этнографические подробности. Широко обсуждался вопрос о «визуальном повороте» в исторических исследованиях. Так, например, в методических предложениях по развитию военно-исторического наследия г. Волгограда присутствует раздел «Произведения искусства как исторический источник». [11, 16]. Получается, что проблема интерпретации нашего исторического прошлого во многом зависит от того, какие вопросы мы ему – прошлому – задаем. В разные времена эти вопросы менялись. Вынужденный поиск новых ответов объективно ведет к расширению источниковой базы.

По сути, история источниковедения – это процесс поступательного сближения источника с человеком. Ведь первоначально источник, как непосредственное вместилище

наиболее значимых персонажей, событий закономерностей, стоял над обычным человеком подобно монументальному памятнику. Отказ от жестких ригидных установок, от ставки на единственно правильную точку зрения привел к тому, что исторический источник стал сопоставим с масштабами человека. Это позволило увидеть многомерность мира людей. Разумеется, что не обошлось и без перегибов. Другая, теперь уже сегодняшняя крайность: отказ исторической науке в верификации её методов и акцентирование внимание на волюнтаризме исследователей.

Принципиальная возможность использования литературных текстов отнюдь не отменяет историческую критику этих источников. Нет особой необходимости доказывать, что они могут быть использованы лишь выборочно. Данные источники нуждаются в последующей перепроверке и тщательном документальном подтверждении. В произведениях художественной литературы присутствует историческая информация с особыми свойствами. Анализ текста, созданного писателем, заставляет исследователя не просто заниматься исторической критикой такого непривычного источника, но и постоянно соотносить воображаемый мир с некогда бывшей действительностью. От историка требуется детальное сопоставление с официальными документами, циркулирующими в обществе преданиями, слухами и непроверенными сведениями, запечатленными в других источниках.

Автор литературного произведения не является профессиональным историком и нам предпочтительнее испытывать к нему только относительное доверие. Тщательная перепроверка и селекция информации из литературных текстов – не самоцель. Она важна для реконструкции тех компонентов прошлого, которые совсем не отражены или отражены недостаточно в иных видах источников. Поэтому достоверность описаний территориально и хронологически обычно ограничена близкими к писателю событиями, современником или даже участником

которых он доподлинно являлся. И напротив, его обращение к далекому прошлому обычно позволяет увидеть не столько само это прошлое, сколько уровень исторической культуры того времени, где живет наш писатель.

Однако бывают и исключения. Наличие субъективных моментов в литературных текстах как затрудняет осознание нашего прошлого, так и позволяет выявить нечто новое, ускользнувшее от внимания современников. Л.Н. Толстой, реконструируя в «Войне и мире» события 1812 г., не был их очевидцем; воевал его отец. Роман появился много позднее описываемых на его страницах событий. Сам писатель в знаменитом романе, бывало, грешил против исторической истины. Но кто рискнет утверждать, что Л.Н. Толстой не содействовал нашему историческому национальному осознанию той Отечественной войны? Обоснованные претензии к классику современных профессиональных историков, их заочная критика произошедшего не отменяют главного. Л.Н. Толстой навсегда остался не только великим писателем, но масштабным историософом. Благодаря собственной гениальности, писатель смог заметить и воссоздать, в описываемом им историческом прошлом, многие уникальные черты.

Известно, что русская литература обычно ставила перед героями своих произведений проблемы, которые были много острее, чем в реальной жизни. Некритичное восприятие литературной информации «работает» на искажение образа прошлого. Так, например, историки обратили внимание на российскую специфику народной памяти. В ней укоренились представления, что богатство сплошь и рядом наживается несправедливым путем [12, 71-72]. Эти представления были заимствованы и отечественной литературой. В художественных произведениях российских писателей до сих пор очень мало положительных образов предпринимателей и доминирует критическое отношение к ним. Нарочито назидательная и иллю-

стративная функции литературы имеют для исследователей прошлого как положительные, так и отрицательные стороны.

Субъективно реконструируя некогда бывшие реалии, апеллируя к религиозным и философским концепциям, отечественная литература обращала внимание на ранее потаенные сведения. Передавая их широкой огласке, она открывала эти сведения для настоящего и будущего. Примером подобной открытости являются литературные произведения второй половины XIX в. Очень часто они обладают неповторимой информационной ценностью. В ряде случаев их тексты способны выступать в качестве незаменимых исторических источников. Данное обстоятельство связано с особенностями культуры периода завершения становления индустриального общества. Люди той эпохи были своеобразными пленниками идеологии линейного прогресса, они искренне верили в положительную роль объективного знания. Отсюда проистекало их стремление к социологизму, к максимальной точности в описаниях.

Следует также учитывать, что критический реализм в художественной литературе той поры претендовал именно на отображение существенных сторон жизни и воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах. Повести и романы, насыщенные бытовыми подробностями, по степени точности воспроизведения были близки путевым очеркам с их литературными вкраплениями, зарисовкам с натуры, газетной и журнальной публицистике, фельетонам. Они передают для нас, присущим им ярким образным художественным языком, общественную психологию того времени, мысли и чувства действующих лиц. Благодаря этой литературе мы способны лучше понять прежде существовавший образ жизни и специфику общественной психологии.

На рубеже конца XIX – начала XX вв. началось вхождение мировой цивилизации в позднеиндустриальную фазу своего развития. Быстро менялся культурный ландшафт. Появились большие города, массовое конвейерное производство, бур-

но развивался транспорт. Психологически мир уменьшился в размерах, а человек, наоборот, увеличился. Но это была «одномерная», отчужденная и во многом стандартизированная социальная особь [13]. Одинокая в человеческом мире, она, парадоксально, постоянно жила и работала среди малознакомой или незнакомой людской массы и остро нуждалась в коллективе. Так возник феномен толпы, своеобразного социального организма, в котором люди на время расставались со своими личностными свойствами. Появление на авансцене истории больших масс людей зафиксировали многие мыслители: экономисты, философы, психологи и, конечно же, писатели. Всем им потребовались новые средства отображения изменившихся социальных реалий. Критический реализм для этого годился далеко не всегда.

Рубеж двух веков стал для творческих лиц временем бурных культурных экспериментов. Эпатажные выходки представителей богемной публики родились одновременно с еще не вполне дисциплинированной городской толпой. В обществе были в моде поза, актерство, стремление к изображению несвойственных для индивида ролей [14]. Социокультурный анализ доказывает закономерность подобных перевоплощений [15, 203-242]. Действия стихийной массы в целом и её отдельных сегментов, вплоть до конкретных индивидов, могли быть первоначально поняты только вне узко рациональных подходов. Выход за ранее очерченные рамки требовал художественного воспроизведения социальных девиаций, глубинных, иррациональных состояний человеческой психики. И лишь затем началось ужесточение дисциплинарных практик: в политике, экономике, а затем и в сфере культуры.

Процессы внутреннего раскрепощения в условиях кровавого XX в. протекали подспудно, но они нашли своё воплощение в литературе, кинематографе, в иных видах художественного творчества. В большинстве гуманитарных дисциплин были найдены собственные специфические методы исследований

вызовов новейшего времени. К сожалению, даже с известной долей условности в это сообщество избранных муз пока еще нельзя включить историческую науку. И сегодня её штудии в основном базируются на «обкатанных» ранее социологических, позитивистских, вульгарно-материалистических и иных традиционных объяснениях. Видимо не случайно, что в нашем Отечестве так и не выработано добротной научной оценки событий вековой данности. До сих пор не преодолен дефицит исследований о конкретно-человеческих, образных проявлениях жизни индивида. Так и не наполнено конкретно-историческим содержанием исследование феномена толпы в эпоху бурных социальных потрясений, начатое работами Г. Лебона, Г. Тарда и З. Фрейда.

И в дальнейшем история нашей страны воспроизводилась не только в сухих академических текстах. «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Реквием» А. Ахматовой или «Новое назначение» А. Бека оказались своеобразными моментальными «снимками», выполненными замечательными художниками слова. На этих прекрасных по содержанию изображениях фиксируются увлекательные существенные детали, представлено восприятие современниками окружающей их конкретики, присутствуют значимые авторские оценки. Данным произведениям не хватает только одного: их включения в область исторических исследований с детальным выявлением и анализом объективных реалий, художественно запечатлённых мастерами слова.

Кто знает, как наши потомки будут научно судить о нынешнем состоянии постсоветской России? Не исключено, что и по максимально пристрастным и неоднозначным литературным произведениям. Таким как поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы», роман Юрия Полякова «Небо падших», сага об олигархах Юлии Латыниной. Ведь искренности в этих книгах больше, чем в иных «правильных», но максимально ангажированных исторических трудах. Ясно лишь, что выяв-

ление сложных корреляционных зависимостей в нашем прошлом допустимо как с помощью историко-математических, так и историко-психологических наработок.

Все вышеизложенное доказывает актуальность избранного исследования. Помимо академического интереса здесь присутствуют потребности образовательного процесса. Для большинства людей углубленное знакомство с историей начинается не с научных монографий. И, как это ни прискорбно, не из школьных учебников. Они лапидарны, написаны сухо, бегло, почти «телеграфным стилем». Без дополнительной педагогической работы наши учебники – увьи! – часто воспринимаются детьми как информационный шум. Этих недостатков лишены лучшие произведения художественной литературы на историческую тематику. Они задают эмоциональное напряжение, оживляют события прошлого за счет создания ярких запоминающихся образов.

Умение работать с образами прошлого оказывается необходимым условием и для тех, кто учит, и для тех, кто учится. Какие именно усилия взрослых способны дать положительные результаты? Творческая работа учителя. Встречи со свидетелями и участниками исторических событий. Привлечение детей к историческим театрализованным мероприятиям и ролевым играм, первые исследовательские работы. Однако на этом познавательном пути имеется существенное препятствие. Образы способны как адекватно отражать прошлое, так и создавать мифы, имеющие мало общего с некогда бывшими событиями.

Так возникает потребность разобраться: какую же собственно информацию мы получаем через те или иные образы? Каково её качество и степень достоверности? Но если школьный учитель-историк обладает определенными профессиональными навыками чтения и анализа научной исторической литературы и исторической критики традиционных источников, то детальный разбор степени достоверности текстов художественной литературы может поставить его в тупик. Исполни-

зование интеграционных механизмов и междисциплинарных связей в гуманитарных дисциплинах усложняет педагогический процесс и ко многому обязывает. Встает вопрос: как правильно использовать художественное слово для формирования исторического сознания?

Некоторые ответы на данную проблему предложены в настоящей работе. Её целью является исследование практического использования текстов литературных произведений как исторических и историко-этнографических источников о жизни локальных российских социумов. Достижение поставленной цели возможно при разрешении ряда задач. К ним относятся: выявление объективных реалий, характерных сначала для второй половины XIX в., затем – для рубежа XIX-XX вв., и, наконец, для советского и постсоветского периодов.

Объектом исследования выступает выборочная подборка текстов художественной литературы, как правило, созданных на периферии. В этих текстах фиксируются события отечественной истории, по преимуществу региональные. Соответственно, литературные тексты одновременно являются и историческими источниками.

Предметом исследования является анализ исторической информации, содержащейся в данных литературных текстах, повествующих о жизни локальных территориальных сообществ (обычно провинциального уровня), о её восприятии глазами внешних наблюдателей и местного населения.

Источниковая база настоящего исследования представлена:

1) художественными текстами (произведения Ф.М. Решетникова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А. М. Горького, С.И. Карцевского, Б.А. Тимофеева, К.Д. Носилова, Е. Федорова, Н. Зарубина, А. Крона, Ю.Г. Слепухина, Е.Д. Айпина, ряда других писателей);

2) архивными материалами (фонды ГАСО, ГАШ, ГУТО ГА в Тобольске).

Произведения отечественных писателей относятся к разным направлениям и жанрам. Использование проблемно-хронологического принципа, позволило, с известной долей условности, систематизировать массив анализируемой литературы. В каждом разделе монографии предпринята попытка выявить некоторые специфические черты конкретного времени. Отчасти это связано и с особенностями литературного процесса, в котором присутствовало усложнение способов отображения окружающей действительности. Старые направления на авансцене литературной жизни дополнялись новыми. Так, например, критический реализм был вытеснен социалистическим реализмом. На смену последнему в конце XX в. пришел неотрадиционализм. Авангардизм и модернизм начала XX вв. в последующем стали интеллектуальной основой для возникновения постмодернизма. Хронологические рамки исследования: вторая половина – время почти непрерывной ускоренной модернизации как России в целом, так и её периферии.

Ядром территориальных рамок исследования являются произведения писателей Югры, Урала и Сибири, в которых зафиксированы особенности жизни локальных сообществ. Для автора данной работы важно акцентирование внимания на текстах, созданных именно на периферии. Это не случайно. Как исторические источники они почти не включены в научный оборот. Их ценность возрастает при изучении территории с недостатком исторической информации и с фактическим господством культуры «безмолвствующего большинства», на которой, однако, уже появились наблюдатели, способные к рефлексии и профессиональному литературному изложению своих мыслей. Имя этой территории – провинция. Именно на её просторах художественные тексты были способны не только детализировать прошлое, но и, в ряде случаев, представить оригинальную целостную картину развития значимых социальных процессов. В тоже время, провинциальная литература далеко не всегда отображала но-

вации в историческом развитии. Данное обстоятельство содействовало при анализе текстов вынужденному выходу за пределы относительно очерченных территориальных рамок. История изучения произведений художественной литературы пока недостаточно систематизирована.

Специализированных историографических трудов по данной проблематике практически нет. Одна из немногих обобщающих работ – статья И.А. Манкевич «Литературно-художественное наследие как источник культурологической информации» [16]. В ней сосредоточены сведения о использовании литературных произведений в истории исторической науки. Они избавляют от необходимости дополнительно освещать данную проблематику. В начале нынешнего тысячелетия журнал «Отечественная история» выпустил два специализированных номера, посвященных междисциплинарным взаимодействиям: история – литература и история – кино (№1 2002 г. и №3 2003 г. соответственно).

Анализ истории развития местной региональной литературы и её произведений представлен в тематической подборке «Уральского исторического вестника» (№1 (22) за 2009 г.). Одна из положительных сторон данного журнала – постоянное присутствие литературоведческих работ на его страницах. Это ведет к симбиозу истории и литературы. Интересны также сборники «Литература Урала» (Екатеринбург, 2006-2012 гг.). Их седьмой выпуск сделан специализированным: он посвящен региональным взаимоотношениям истории и литературы [17]. Нечто похожее представлено и в коллективной монографии сибирских ученых [18]. Рубежным явлением в гуманитарных исследованиях стало появление книги Н.Н. Родигиной «Другая Россия» [19]. Широко использован анализ литературных образов в книге американского исследователя Юрия Слэзкина «Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера» [20].

Историческая информация из художественных текстов заимствуется разнопланово. Иногда при таком усвоении господ-

ствуется фрагментарность – плоды литературного труда употребляются на историческом «столе» от случая к случаю, в виде необязательного десерта. Иногда литературные тексты, напротив, представлены максимально широко: как неисчерпаемый резервуар исторической информации. В последнем случае сама работа рискует оказаться развернутым приложением к художественному слову.

Особенно часто это происходит при описании повседневной жизни или социальных нравов. На сегодняшний день быстро растет число исследований по микроистории и, соответственно, заимствований информации из произведений художественной литературы. Антропологи обосновывают это важной ролью повседневности для современного человека, живущего в состоянии перманентного стресса [21, 8]. Однако есть основания считать, что художественные тексты не ограничиваются фиксацией некогда существовавших бытовых подробностей или социальных нравов. Их потенциал много больше. Художественная литература тем и интересна, что, опираясь на историческую конкретику, образным языком разрешает вопросы бытия человека вообще. Данный философский подход помогает преодолевать узко этнографические частности в использовании художественных текстов.

Несмотря на внешнее разнообразие, у большинства работ, использующих литературные тексты, имеется ряд отличительных признаков. Эти тексты оказываются иллюстративным материалом, относительно которого почти не присутствует научная рефлексия. Минимальное источниковедческое теоретизирование и отказ от рассмотрения исторической динамики самих литературных текстов обедняют процесс исторического познания. Это вынуждает нас обратить внимание на методологию исследования. Традиционно она базируется на основополагающем принципе историзма. Учет историко-генетических связей, преемственности, в исследовании всегда максимально важен. Однако, помимо этих определяю-

щих факторов, необходимо также обратить внимание на культурные новации, качественные переходы, разрывы. По меткому выражению М.И. Веллера, талантливый литератор должен быть «перпендикуляром», по отношению к окружающим.

И здесь уместно использование ряда принципов постмодернизма и постструктурализма. Так Ю. Кристева теоретически обосновала феномен разрыва в своей книге «Силы ужаса. Эссе об отвращении» (1982 г.). По мнению этой исследовательницы, «отвратительное» лежит на грани разделения субъектов, предшествуя их возникновению, а также смыслам, языку, желаниям. Отвращение, таким образом, выступает как некий предвестник культуры. Ю. Кристева считает, что отвращение устанавливает границу самосознания субъекта, сопровождает религиозные построения и, в конечном итоге даже отображается в литературе [22]. Заметим, что в результате цивилизационного раскола Петра Великого интеллектуалы, в том числе и литераторы, были вынуждены заново открывать Россию. Эти «открытия» вызывали у них далеко не всегда положительные психические реакции. При изучении художественных текстов концепция болгарской исследовательницы оказывается достаточно результативной.

Восприятие знаковой информации, словесного массива исторически изменчиво, на что обратил внимание М. Фуко. Этот мыслитель разработал понимание эпистемы – изменяемой исторической структуры, действующей как некое тотальное поле, которое определяет мнения, теории, науку, творчество. Он же объяснил особую функциональную роль автора текста [23]. Его теоретическое наследие является одной из методологических оснований настоящей работы. Труды Ю. Кристевой и М. Фуко характеризуются междисциплинарным подходом и интеллектуально востребованы в литературоведении. Но их применение в конкретных исторических разработках требует определенной адаптации.

Похожая ситуация сложилась и с литературоведческими методами, также задействованными при анализе литературных текстов. Не случайно, что ведущий отечественный источниковед О.М. Медушевская обоснованно замечала: «нынешнее сближение историко-источниковедческого и современного литературоведческого исследовательских подходов представляется весьма перспективным. Поставив вопрос таким образом, можно лучше понять, что историческая наука, и особенно её источниковедческое (и отчасти историографическое) направление, накопила весьма значительный конкретный опыт общегуманитарного эпистемологического знания. Достаточно вспомнить, например, дискуссии отечественных историков о том, являются ли художественные произведения историческим источником и какую именно информацию несут они в этом качестве. На данном направлении междисциплинарных исследований источниковедов и искусствоведов ждут весьма перспективные эпистемологические открытия» [24, 146-147]. Объективно междисциплинарный подход ведет к применению методов исторической компаративистики. Их частным случаем можно считать использование уже упомянутых контрфактических исследований.

Значительная часть материалов данной книги была ранее опубликована в виде отдельных статей в периодических и продолжающихся изданиях [25-33]. Автор благодарен за плодотворное сотрудничество ответственному редактору и рецензентам настоящего издания, а также коллегам, уже высказывавшим свои советы и замечания: Н.А. Беловой, А.Г. Даниловой, Н.А. Слепухиной, Д.В. Филипчуку.

Литература

1. Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества: Курс лекций. М., 1997. 385 с.

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. 616 с.
3. Асоян А.А. Proscholium. Инструментарий и практика литературного произведения. Омск, 2006. 222 с.
4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный подход. Учебное пособие. М., 2002. 200 с.
5. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 367 с.
6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М. 1988. 704 с.
7. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 451 с.
8. Литовская М.А., Созина Е.К. Литература и история: проблема взаимодействия // Уральский исторический вестник. 2013. №1(38). С. 57-66.
9. Гупта А., Фергюсон Дж. Дисциплина и практика: «поле» как место, метод и локальность в антропологии // Этнографическое обозрение. 2013. №6. С. 3-44.
10. Данилов А.Г. Россия: на перекрестках истории XIV-XIX вв. Ростов-н/Д, 2010. 588 с.
11. Собинова Е.Г., Гафар Т.В. Военно-историческое наследие: опыт включения в развитие территорий, формы презентации и перспективы развития // Справочник руководителя учреждения культуры. 2013. №6. С. 6-17.
12. Свищев П.А. Деньги в представлениях южно-зауральских крестьян конца XIX – начала XX века // Культура Зауралья: исторический опыт и культура развития: материалы Второй обл. научн.-практ. конф. Курган, 1997. С. 71-77.
13. Ершов М.Ф. История и постмодернизм (или становление новой городской культуры) // Первая Всеросс. научно-практ. конф. ученых-историков и преподавателей. М., 2011. С. 357-362.
14. Тульчинский Г.Л. Ролевая революция и массовый энтузиазм первых советских лет // Лабиринт. Журнал социально-

- гуманитарных исследований. 2012. №5. URL:<http://www.journal.labirint.com>. Дата обращения: 19.05.2014.
15. Ершов М.Ф. Социокультурная эволюция образов очеловеченного пространства: общетеоретические и конкретно-исторические аспекты. Ханты-Мансийск, 2013. 276 с.
 16. Манкевич И.А. Литературно-художественное наследие как источник культурологической информации // Обсерватория культуры. 2007. №4. С. 17-23.
 17. Литература Урала: история и современность. Сб. ст. Вып. 7. Литература и история – грани единого (к проблеме междисциплинарных связей): в 2 т. – Екатеринбург, 2013. Т. 1. 310 с. Т. 2. 324 с.
 18. Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве: коллективная монография. Красноярск, 2010. 237 с.
 19. Родигина Н.Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX века. Новосибирск, 2006. 343 с.
 20. Слѣзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008. 512 с.
 21. Посадская А.А. Советская повседневность в художественных текстах (1920-е – 1990-е годы). М., 2013. 184 с.
 22. Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. Харьков, СПб. 2003. 256 с.
 23. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994. 406 с.
 24. Медушевская О.М. Теория исторического познания: Избранные произведения. СПб., 2010. 572 с.
 25. Ершов М.Ф. Роман «Южный крест» Юрия Слепухина: в поисках свободы // Юрий Слепухин: XX век. Судьба. Творчество: сборник статей и материалов. СПб., 2012. С. 364-370.

26. Ершов М.Ф., Филипчук Д.В. Образы очеловеченного пространства в русской литературе середины XX века // Вестник урovedения. 2013. №3 (14). С. 83-92.
27. Ершов М.Ф. «Божья мать в кровавых снегах» Е.Д. Айпина: позиция писателя и исторические реалии // Культура Арктики: коллективная монография. Якутск, 2014. С. 272-282
28. Ершов М.Ф. «Страшный суд» А.К. Югова: литературный вымысел и историко-психологические реалии // «VII Емельяновские чтения»: Мат. Всеросс. конф. Курган, 2014. С. 54-56.
29. Ершов М.Ф. Власть и традиционная культура в творчестве Е.Д. Айпина // Мат. международной научно-практической конференции «Знать, чтобы не забыть: тоталитарная власть и народ в 20-х – начале 50-х годов XX в.» 30-31 мая 2014 г. Усть-Каменогорск (Казахстан), 2014. С. 161-178.
30. Ершов М.Ф. Швейк в русском плену: роман и исторический источник // Сибирь и войны XIX-XX вв. Тез. Всеросс. (с международ. уч.) научн. конф. Новосибирск, 2014. С. 109-114.
31. Ершов М.Ф. Тексты писателей-реалистов как историко-этнографические источники провинциальной жизни второй половины XIX – начала XX вв. // Вестник урovedения. 2014. №3 (18). С. 133-43.
32. Ершов М.Ф. Контрфактическое моделирование в историко-литературных источниках: к постановке проблемы // Вестник урovedения. 2014. №4 (19). С. 105-114.
33. Ершов М.Ф. Художественные тексты как исторические источники о жизни провинциальной России рубежа XIX-XX вв.// Санкт-Петербургский исторический журнал. 2015. №1. С. 51-67.

ГЛАВА 1

ТЕКСТЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

1.1. На грани Сибири: местные реалии у бытописателей

На сегодняшний день осознание специфики социокультурных процессов, происходивших в российской глубинке еще достаточно схематично. Так в исторических дисциплинах плохо обоснованы наши знания об особенностях менталитета отечественного «безмолвствующего большинства». Для исследований в основном характерны иллюстративные описания, без детального анализа скрытых причин и учета региональной конкретики. Пока мы лишь приблизительно представляем настроения того времени, особенно среди социальных низов. Существенную роль здесь играет такое обстоятельство как узость источниковой базы.

Чем оно порождено? В первую очередь закрытостью общества. У провинциалов присутствовали и недоверие к властям, и игнорирование законов, и желание сохранить в неприкосновенности привычные семейные, корпоративные и деловые устои. Все это вело к изоляции от государственных структур и от представителей господствующей культуры. Открытости препятствовал и невысокий образовательный уровень большинства жителей периферии того времени. Он максимально затруднял создание исторических источников, в которых рас-

крывались бы социально-психологические характеристики конкретных представителей локального социума.

Неспособность к внятному выражению собственных мыслей и отсутствие рациональной рефлексии были в основном присущи для людей, живших в условиях, близких к патриархальной культуре. Ее изживание во второй половине XIX в. вызвало ожесточенный конфликт с новыми слоями бурно формирующегося индустриального общества. Развитие индивидуальных начал, реализация принципов правового равенства, проявлялись через отрицание прежних социальных норм. Подобное отрицание в провинции исходило, в первую очередь, от людей, отчужденных от обыденного существования. Они, будучи культурными маргиналами, открывали латентный для европейски образованного человека мир провинциальной действительности и стремились преобразовать его своими действиями и творческими усилиями. К таким людям относились представители «приличной публики» и тяготеющие к ним слои: краеведы, образованные путешественники и, конечно же, писатели. Творения писателей представляют особый интерес, особую ценность и особую сложность для изучения истории российской провинции и общественной психологии ее населения.

Следует назвать ряд писателей, хорошо знающих провинциальную жизнь Урала и Зауралья. Среди них выделяются имена Ф.М. Решетникова (1841-1871 гг.), Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912 гг.), Д.Н. Телешова (1867-1957 гг.). В меньшей мере известно литературное творчество С.И. Карцевского (1884-1955 гг.). Мы считаем, что, при определенных условиях, та информация, которая содержится в текстах вышеупомянутых писателей, может быть использована в историко-этнографических исследованиях. Соответственно, оказывается важен выборочный предварительный анализ их произведений, рассматриваемых в качестве историко-этнографических источников.

Дело в том, что сведения, приводимые этими писателями, зачастую уникальны. Их литературные тексты, вне сомнения, не похожи друг на друга. Здесь сказывались различия в личном опыте и круге знакомств. Писатели исследовали неодинаковые социальные группы. У Ф.М. Решетникова наиболее ценны характеристики людей «из народа». Д.Н. Мамин-Сибиряк дополнительно анализировал причины тех или иных поступков лиц из сферы предпринимательства. Д.Н. Телешов, будучи коренным москвичом, смотрел на местности, расположенные за Уралом, глазами дорожного путешественника. Уроженец Зауралья С.О. Карцевский, напротив, был максимально включен в местную жизнь.

Значимым для писательского творчества оказался фактор времени – в эпоху ускоренной модернизации даже промежуток в одно десятилетие существенно менял провинциальное общество. Естественно, что у наших авторов присутствовали не только различия, в том числе географические, но и было немало точек соприкосновения. Они, демократически настроенные выходцы из народа, художественными средствами отображали окружающую действительность. Взгляд очевидца позволял им с большой долей точности запечатлевать ускользающие социальные реалии. В первую очередь к таким текстам относятся дорожные очерки, в которых много повидавшие писатели со знанием дела показали особенности передвижения, повседневный быт путешественников, характерные черты коренного населения.

Так, при описании обычной телеги важны даже не столько технические подробности, сколько уважение Д.Н. Мамина-Сибиряка перед изобретательностью сибиряков: «Нужно сказать, сибирская ямщичья телега в своем роде идеальное сооружение, начиная с того, что за исключением железной оковки колес и железного крюка, она вся деревянная до последнего гвоздя. Затем она вся сложена неизвестным механиком необыкновенно остроумно, до того включительно, что

её можно починить и поправить где угодно. В ней рассчитан каждый гвоздь, каждый вершок, каждый оборот колеса и только на ней можно было мотать путины по сибирским трактам тысячами вёрст. Она необыкновенно легка на ходу, потому что передние колеса, несмотря на свою величину, свободно подворачиваются под кузов, и, наконец, кузов поставлен так, что возовая тяжесть распределяется наивыгоднейшим для лошади образом. Воз не мотается на ходу, легко добывается из загор (глубоких рытвин. – Е.М.), и в такой телеге везде можно проехать. Российская телега ничего общего с сибирской не имеет, – длинна, высока, неповоротлива, вообще тяжела» [1, 390]. Подобная характеристика присутствует в еще одном произведении писателя – очерке «На большой дороге» (1895 г.) [2, 322-323].

В рассказе «На тройках» (1892 г.) Н.Д. Телешова приведены близкие характерные черты зимней купеческой повозки, похожей на «бабушкин чепчик»: «Много было прикушено языков, много было посажено синяков на лбы и шишек на затылки, прежде чем выдуман такой экипаж. Русский человек доходил до него постепенно, не торопясь, и всякий раз умудрялся горьким опытом. И, наконец, состряпал такую штуку, что кати на ней хоть к чертям на кулички, – горя мало! <...> Все в этой повозке отличается прочностью и удобством: косогор ли, ухабы – все ей нипочем! Засел в этот «бабушкин чепчик», приделанный к высоким розвальням, натянул на ноги меховое одеяло, и лети хоть за тридевять земель, ни о чем ни горюя.

Что ей сделается, этой повозке? Наскочила на кочку – небось не опрокинется набок потому что по бокам приделаны отводы вроде вторых оглобель, которые берегут ее и слева и справа. Понесется ли она по ухабам, и то не беда, – разве только охнешь от неожиданности, а уж язык не прикусишь и не станешь бодаться с ямщицкой спиной или с своим собственным чемоданом. Чепчик сделан из прочного лубка и околочен циновкою; на случай солнца – сверху спускается «зонтик», на

случай голода или жажды в кузове имеются два кармана, где хранится все необходимое: закуска, коньяк, табак и тому подобное. Под сиденьем – перина, за спиною – подушки, так что ни сидишь, ни лежишь, а натягиваешь на ноги меховое одеяло да завернешься покрепче в доху поверх полушубка, поднимешь фартук, опустишь зонтик да выпьешь на сон грядущий – так тут не то что тут ухабы или мороз, а никакая метель не страшна!» [3, 39-40].

Глубокое знание местной специфики вело к взвешенным оценкам. Ф.М. Решетников и Д.Н. Мамин-Сибиряк отнюдь не идеализировали дорожных героев своих очерков. Как достаточно заурядное явление воспринимают инсценировку с ограблением персонажи Ф.М. Решетникова в «Очерках обозной жизни» (1867 г.). На вопрос писателя, откуда у хозяйки постоялого двора дешевый чай, следует недвусмысленный ответ возчика: «У кого ей лучше купить как не у нас? У нас тоже бывает так, что мы всей артелью бываем должны хоть той же Анне Герасимовне, рублей по десяти, ну вот и отдаем ей сообща место чаю, и квит, а потом и объявим, што срезали, а если будут взыскивать, так опять-таки сообща заплатим, и меньше. Одново разу мы так четыре места ухнули. Одново разу у ямщика лошадь пала почти на самом большом переходе. Ну, а сам знаешь, ему горько, да и нам-то неприятно, потому хлопот – сколько: нужно на себя примать с пустой телеги кладь, а мы накладываем на телеги летом восемнадцать и двадцать пудов, а зимой и двадцать два пуда, в оккурат постоянно...

Ну, подрядчик говорит: так нельзя, надо как нибудь довести воз до постоялого да ему купить лошадь. А хорошая лошадь, для обоза годная, стоит восемьдесят и сто рублей; так, говорит подрядчик, надо чаи задеть... Ну, конечно, все с этим согласны, потому свой человек, с маленьких лет с ним ходим – жалко. Приехали к дворнику (содержатель постоялого двора. – Е.М.): так и так, говорим, – подрезали, одно место взяли и ямщиков избили... А дворник смеется: «Рассказывайте, говорит, сказки,

здешнее место еще бог миловал; это, говорит, не под Ключами или Тамисками!» Ну, мы и говорим, какое дело. «Ладно, говорит, за место чаю я свою лошадь отдам, а штобы вам опаски не было, давайте еще два места: одно за то, что я старшина в волости, а другое становому – он вам бумагу даст и будет следствие производить...» Тут наш подрядчик и говорит: «Ты, дворник и старшина, скажи становому-то, што, мол, у нас четыре места срезали: одно место мы себе возьмем, с дворником в городе нужно рассчитаться...» Ну и получили бумагу от станового, што у нас четыре места подрезали и нас избили ловко» [4, 344].

Что интересного в этом обыденном разговоре? Современники ранее неоднократно отмечали что выгодная торговля китайским чаем провоцировала на злоупотребления приказчиков [5, 136-137]. Решетников же фиксирует диффузию аморальных «рыночных отношений» уже в сообщество обозных, близких к неиспорченной крестьянской культуре и изменение их общественной психологии. Напомним, что ранее участники крестьянского извоза славились честностью и неподкупностью [6, 15]. Путешествующий человек, на что также обратили внимание писатели, стремился остановиться не там, где было дешево и комфортно, а там, где жили «свои люди». А среди «своих» брать деньги за постой и услуги считалось «грехом».

Кроме возможной культурной разобщенности с постояльцами, у хозяев имелись и чисто экономические причины для отсутствия радушия. В рассказе «Ночевка» (1891 г.) Д.Н. Мамин-Сибиряк с большим юмором описал злоклучения кучера и его хозяина, ищущих ночлег в ночном Челябинске. Даже добравшись до вожделенного постоялого двора они так и не находят желанный отдых. «Я кое-как перебрался на крылечко и вошел в низкую избу, такую грязную, что страшно было сесть на лавку. Старуха сидела у стола и дремала. Оплывшая сальная свечка горела около нее в облепленном разной гадостью железном

подсвечнике. Я с тоской оглядел всю избу, напрасно отыскивая уголок, где можно бы было прилечь.

– А я думала, обоз пришел... – ворчала старуха.

– Да ведь ты видела, бабушка, что не обоз, так о чем тут разговаривать. Нельзя ли самоварчик...

– Ну вот, ставь еще самовар вам. ... Ежели бы обоз... беспокоят добрых людей... Обозные-то сколько одного сена возьмут, овса, а то один самовар...

– Не буду же я есть сено для твоего удовольствия!» [7, 236].

Дело было не в старушечьих причудах. По данным Решетникова содержательница постоялого двора в Шайтанском заводе также отказывалась принимать путников вне обозов: «Таких я не принимаю; раза уж хорошо знакомого. Расчету нет, – потому раз – такому много ли надо овса на одну лошадь? А другой насорит да съест насколько... Нет, невыгодно» [4, 337]. В рассказе Мамина-Сибиряка «Крупичатая» (1881 г.) описан постоянный двор на Крестовской ярмарке вблизи Шадринска: «Обозные ямщики ели, как едят только обозные ямщики: целый котел одних щей съели, пока от самих не пошел пар, как от загнанных лошадей. А там еще каша, да пирог с просом, да пирог с соленой муксуниной, да толкно с суслом. Ели до того, что приходилось распоясываться, потом отдыхать, запивать квасом и снова есть. Из едоков больше обозной ямщины едят только одни пыльщики» [1, 257]. Похожее высказывание о еде есть в уже упомянутом очерке «На большой дороге» [2, 326-327].

Содержание постоялого двора и продажа путникам продовольствия в патриархальной среде оценивались достаточно негативно. Это шло из города и, в идеале, подлежало осуждению. В очерке Ф.М. Решетникова «Тетушка Опарина» (1868 г.) одноименная героиня была решительно против отъезда племянницы в город к матери: «Што она в городе-то выживет? Чему научится? Еще, пожалуй, пельмянницей али калашницей делается... Да и какие ноне нравы в городе!» Непринятие города

«К.», судя по тексту – Камышлова, равно как и продаж пельменей и калачей, достаточно условно. Ирония ситуации заключается в том, что сама Опарина и ее городская сестра активно занимались мелочной торговлей, в том числе и продовольствием [4, 190]. Индустриальное общество наступало, а вместе с ним – пора равенства денег. Они становились определяющими факторами при взаимоотношениях между людьми.

Однако в дороге присутствовало и прежнее стремление к сохранению привычной иерархии, к личному возвышению за счет других. В рассказе Д.Н. Телешова «Между двух берегов» (1903 г.) маленький колесный пароход «Сокол» неторопливо движется вверх по Иртышу, таща за собой баржу. Пассажиров из благородной публики (то есть второго класса, расположившихся в отдельных каютах) здесь всего четыре человека. Вряд ли они приносят большую прибыль владельцам парохода. Чем и пользуется пожилой повар Иван Михайлович. Он отнюдь не расположен тратить на путешественников судовые припасы даже за деньги. Для него важнее иное – подчеркнуть собственную значимость. Покупка провизии на берегу у русских крестьян и остяков оказывается для пассажиров парохода чуть ли единственным выходом. Местные жители приносят на пристань, все, что можно продать. Это рыба, утки, огурцы, ягоды, яйца, хлеб, ватрушки. Есть даже брага в берестяных туесах. А матросы тем временем загружают топливо для парохода – дрова [3, 168-170].

Предприниматели в рассказе Н.Д. Телешова «На тройках» торопятся из Москвы на Ирбитскую ярмарку. Престижной для них является быстрота передвижения. Однако жизнь уже внесла свои поправки. От Перми до Камышлова путешественники вынуждены ехать поездом, который на время уравнивает скорость и комфорт в дороге [3, 89-91]. Персонаж еще одного рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Главный барин» (1893 г.) непутевый мужик Македошка, выманив у железнодорожников деньги, утрачивает чувство реальности: «Сбесился человек...

Слова у него пустые, осатанел... Ездит по деревне и орет: «Всех озолочу!» Заметим, что в рассказе «главным баринном», точнее его прототипом, был инженер и писатель Н.Е. Гарин (Михайловский), проводивший разведку железнодорожной линии Екатеринбург – Ирбит [7, 18, 364]. «Главный барин» стилистически близок к одному из сюжетов книги очерков «Кама и Урал» (1890 г.). В ней В.И. Немирович-Данченко емкими штрихами изобразил железнодорожное строительство, появление множества инженеров и развитие рынка в уральской глубинке. «Я вам так скажу, – цинично резюмировал один из специалистов, – до нас десяток яиц стоил гривенник, а баба – рубль; а теперь при нас яйца стоят рубль, баба гривенник» [8, 178].

Обращал внимание Д.Н. Мамин-Сибиряк и на негативные моменты демократизации перевозок. В его рассказе «Последняя веточка» описана суматоха при посадке в пассажирские вагоны. «Публика совалась с узлами и дорожными принадлежностями из вагона в вагон, отыскивая хорошие места. Происходили неизбежные в таких случаях недоразумения и пререкания из-за мест, публика ссорилась, ворчала, на скорую руку прощалась с провожавшими родственниками и знакомыми и вообще сильно волновалась. Напротив меня на скамье поместился неизбежный «купец», без которого вы не обойдетесь ни на одной железной дороге или на пароходе. Такой купец непременно занимает три места и отстаивает их всеми правдами и неправдами, пока не наткнется на какого-нибудь зубастого обер-кондуктора.

Купец везде забрал большую силу и располагается на железных дорогах и на пароходах, как у себя дома, а вся остальная публика служит только некоторым дополнением к нему. Мой купец был достойным представителем своего сословия и держал себя с большим апломбом, обложившись кругом мешками и подушками, точно крепость в осадном положении. Рядом со мной – тоже купец, тоже занял два места и тоже отбивался от осаждающей публики.

– Занято место... нельзя-с!.. Проходите дальше...

– Да у вас целых три места!

– Это женино место, а тут дитю... пожалуйста дальше-с!.. В следующем вагоне даже пустота...

Доверчивые пассажиры тянули к несуществующей пустоте, а купцы переглядывались и хихикали» [7, 279].

Публичная грубость распространялась одновременно с рынком. В корреспонденции 1913 г. хорошо показана агрессивная обстановка возле железнодорожных касс. «Требование соблюдать строгую очередь при покупке билетов исходило, как это ни странно, не от станционного жандарма, но от мужиков и баб, четвероклассных пассажиров, делавших грозные окрики по адресу дам и барышень и запрещающих даже другим покупать для них билеты. Положительно какая-то диктатура четвертого класса, не признающая рыцарства», – сокрушался образованный современник [9, 118].

Одной из вершин творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка является роман «Хлеб» (1895 г.), основанный на фактах ожесточенной конкуренции между крупными капиталистами-винокурами в Зауралье [10]. За литературными персонажами романа легко угадываются их подлинные прототипы (Май-Стабровский – А.Ф. Козелло-Поклевский; Михей Зотыч Колобов – Климентий Ушков). Хорошо узнаваем и центр хлебной торговли – уездный Шадринск, выведенный в романе под названием города Заполье [11]. Сюжет романа органично разворачивается через конкретику человеческих судеб, наложенную на сложные экономические процессы. Так, например, автор романа сумел убедительно показать существенные психологические различия между предпринимателями старой формации и новыми дельцами, циничными и не обремененными прежними сентиментальными чувствами, даже по отношению к близким людям.

Острые противоречия между старыми и молодыми купцами присутствуют в рассказе «Старики не запомнят» (1900 г.).

В захолустном степном городке заканчивается прежняя отлаженная жизнь. Скоро к нему подойдет железная дорога, а вместе с нею придут и новые социальные реалии. Однако у представителей старшего поколения предпринимателей отсутствуют как вера в собственные силы, так и прогностические навыки для анализа непривычных им рыночных условий индустриального общества. Именно этих качеств лишен главный герой рассказа Иван Герасимович, неспособный справиться с удачливым дельцом-сыном. Престарелому отцу и его друзьям остается одно: критически отслеживать и осуждать грядущие изменения. Конец рассказа трагичен: при попытке озлобленного Ивана Герасимовича отстранить сына от дел, тот объявил отца слабоумным... [7, 226-232]. Рассказ, несомненно, имеет ценность исторического источника. В нем выявлено множество черт зауральской действительности рубежа XIX-XX вв. Так, например, упоминание о скупке сорок не является выдумкой автора. Шкурки и перья этих птиц некоторое время действительно поставлялись в Западную Европу для дамских нарядов [12, 349]. В рассказе акцентируется внимание и на мотивационных предпочтениях при принятии решений в деловом мире.

В своих произведениях Д.Н. Мамин-Сибиряк через разные средства художественного текста, изучал те ориентиры, коими руководствовались предприниматели, отслеживает трансформацию нравственных ценностей. В частности, он придирчиво исследовал пределы допустимых поступков и внутренние границы дозволенного в рассказах «Зверство» «Наследник», «Штучка» (1885 г.), «Крупчатая» (1891 г.). Первые два произведения связаны с судьбой конкретного человека – известно, что реальным прототипом литературного Валина был богатый шадринский купец Вагин [13, 54]. В рассказах ставятся вопросы о культурных причинах жестокости. Где же ее больше – у мужика-зверя или «полированного» горожанина? Если деревенские парни жестоко убивают

«гулящую» девку, то образованный сорокалетний Миловзоров после первой брачной ночи доводит до самоубийства доставшуюся ему девушку «с прошлым»...

Последние два рассказа – «Штучка» и «Крупичатая» – наполнены бытовыми и криминальными подробностями описания жизни Ирбитской и Крестовской ярмарок. Здесь была широко распространена преступная торговля «живым товаром» для жадных до плотских удовольствий заезжих купцов. И вновь автор занят изучением общественной психологии. Он подводит читателей к мучительным размышлениям: кто же хуже? Местные жители, продающие дочерей на ярмарках для утехы купцам, сами купцы, или словесно осуждающие порочную практику, но бездействующие благополучные интеллигенты? Для общественного сознания того времени эти вопросы были максимально злободневны. Н.Д. Телешов также исследовал нравы Ирбита. В его рассказе «Сухая беда» (1897 г.) старуха-хозяйка не против того, чтобы её внучка пошла по стопам развратной племянницы и развлекала приезжих купцов [3, 119-120].

Сумбурная атмосфера Ирбитской ярмарки великолепно отображена у Д.Н. Мамина-Сибиряка в романе «Приваловские миллионы» (1883 г.) [14, 351-373]. Эпизод, где ревнивый Виктор Бахарев выстрелом из зала убивает актрису Катеньку Колпакову, не является исключительной выдумкой уральского писателя – он имел аналог в действительности. Следует уточнить, что реальный прототип литературного персонажа актриса А.Я. Романовская, получив тяжелое ранение, все же выжила [15, 200]. Данное различие весьма показательно. Проблема заключается не в недостатке правдивой информации, дело в ином. Художественная литература ставит перед своими героями более сложные задачи, чем настоящая обыденная жизнь, что необходимо учитывать при источниковедческом анализе текста. Заметим, что Д.Н. Мамин-Сибиряк был хорошо осведомлен о ярмарочных реалиях – он имел друзей в Шадринске

и родственников в Ирбите. Во время одного из приездов на ярмарку он останавливался именно в гостинице «Биржевой», упомянутой в романе [16, 34].

Уральским писателем не выдуманы разгульные нравы и детали ярмарочной жизни. Один из героев романа Веревкин рассказывает ярмарочные новости: «Вы не слыхали, какую шутку устроил Данилушка с Лепешкиным? Ха-ха... Приходят в одну гостиницу, там аквариум с живыми стерлядями; Данилушка в аквариум купаться... конечно, все раздавил и за все заплатил» [14, 354]. Известно, что живую рыбу (в том числе осетров) крестьяне ухитрялись доставлять на ярмарку с Иртыша и Оби, зарабатывая хорошие деньги. Такого осетра ловили осенью и привязывали веревкой за жабры. Зимой, перед поездкой на ярмарку, рыбину доставали из воды. «Вытянут и парного в тулуп, – сообщал информант, – в рот мокрую тряпку и на воз. Через несколько дней, чтобы не уснул, дед его взбадривал водкой – капал немного на мокрую тряпку. И неделю осётр жил... За подводу, двадцать пять пудов груза, купец платил пятнадцать рублей – дед на пяти лошадях ходил – а за живого осетра – больше всей ездки! Потому как диковинка...» [17, 37].

Присутствуют в романе и другие сюжеты, близкие к исторически достоверным фактам. Ограничимся краткой характеристикой одного из второстепенных персонажей «Приваловских миллионов»: «Данила Семеныч Шелехов был крещеный киргиз, купленный еще дедом Сергея Привалова в одну из жестоких степных голодовок. Обезумевшие от голода родители с большим удовольствием продали шустрого ребенка за мешок муки и пару плохих сапог» [14, 190]. Известно, что прототипом Шелехова был Е.И. Жмаев, имеющий калмыцкие корни [18]. Существование этнического рабства в Сибири вплоть до конца первой четверти XIX в. фиксируется историческими источниками [19]. Однако эта тема мало освещена как в научной, так и в художественной литературе.

Проблема межэтнических контактов, в том числе между русскими и коренными народами Севера также затронута в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка. В рассказе «Старый шайтан» (1903 г.) описана «благородная» публика из уездного городка Заволочье (судя по географическому расположению, его прототипом была Чердынь), находящегося на Северо-Западном Урале. Провинциальные персонажи, иронично показанные писателем, отправляются в двухдневную, неподготовленную экспедицию. Цель – обоснование очередного утопического проекта неуёмного председателя местной Земской управы. Заблудившиеся и перессорившиеся интеллигенты встречаются в лесу престарелого мансийского князя. Его люди давно переселились за Урал, на Лозьву. Он – последний хранитель родной земли – остался. Князь знает, что произойдет, после его смерти:

– Тогда все вогулы вернутся сюда и прогонят всех русских, – уверенно проговорил он. – О, вогулов много как листьев на дереве!.. Вогулы самый сильный народ... Вот ты строишь для них свою дорогу... И все другие будут работать для вогулов... я уж видел в Усолье, какие для них устроены русскими железные лодки и железная лошадь... Все это для вогулов... Они только ждут, когда им идти... Вернутся и все покойники... они только отдыхают пока... Все покойники придут. Старый шайтан все знает, только молчит... И я буду управлять своим народом, а ты будешь мне кланяться... Все вогулы будут есть каждый день, и все будут счастливы... [20, 351].

Как далека эта реалистичная эпическая фигура от клишированных типажей благородных дикарей или наивных детей природы, размноженных отечественной литературой в невероятных количествах и засоряющих наше культурное сознание! Данный образ не мог появиться, «сам по себе», детали выдают впечатления очевидца. Уникальность наблюдения заключается в реконструкции языческой картины мира, с круговоротом реинкарнаций, характерной именно для обско-угорских народов.

Писатель художественными средствами передает трагедию манси, вынужденных ради сохранения этнической идентичности, уходить за Урал.

Не чурался этнографических деталей и Ф.М. Решетников. В его романе «Где лучше?» (1868 г.) один из пьяных золото-добытчиков на Удой-кинских (судя по контексту, это Южный Урал) золотых приисках запекает песню:

*Во Шадринском во селенье
Живут люди-староверы
С давних уже лет...*

Все подхватили последний стих и продолжали во все горло:

*Они пастыря не знают,
Сами требы исправляют (bis),
Во всем Шартоше,
Вот родятся, умирают
И усопших отпевают
Сами без пона (bis) [21, 146].*

Повторы (bis), мало уместные в художественном произведении о простонародье, косвенно свидетельствуют об аутентичности текста песни. Видимо, автор включил его в роман именно так, как и записывал. Известно, что город Шадринск и селение Шарташ, расположенное поблизости от Екатеринбургa, славились как центры старообрядчества.

Тема межкультурных, в том числе и межэтнических контактов затронута в повести С. Карцевского «Ямкарка» (1910 г.). Повесть посвящена недолгой любви между крестьянской девушкой и проезжим учителем, следующим к месту службы в глухую деревню на р. Конда. Из-за погодных условий, пока не встал лёд на реках, учитель вынужден коротать время на деревенской земской ямской квартире, где и сблизился с дочерью хозяев. В повести множество достоверных деталей быта: описание крестьянских работ на Севере, половозрастное распределение труда, досуг деревенской молодежи [22]. Подобная осведомленность неудивительна: Сергей Карцев-

ский, уроженец Тобольска, свою просветительскую деятельность начал с работы учителем в с. Нахрачи, расположенном именно на Конде.

Отвлекаясь от возможных автобиографических моментов, присутствующих в повести, заметим, что начинающий писатель смог зафиксировать в своем произведении множество новых реалий. Среди них – снижение социального статуса учителя. Герой повести достаточно демократичен. Его трудно отнести к «благородной публике». Учитель не против покурить с деревенскими парнями, поехать на ловлю рыбы или сгребать сено с местными крестьянами. Рядом со здоровой, но неграмотной деревенской девушкой ему куда интереснее, чем возле «учительницы, старой девицы с огорченным выражением лица». Образованный молодой человек не рассматривает возможный брак с крестьянкой как мезальянс. Он даже готов увезти девушку на место службы. Даша, его любимая, отказываясь ехать на Конду, ревнует учителя к женщинам-остячкам:

– Там у тебя анки будут красивые... лучше меня [22, 37].

В этой реплике отображено начавшееся психическое сближение между этносами, хотя в повести пока еще присутствуют моменты пренебрежения к коренным народам Севера со стороны русского старожильческого населения. При первой встрече учителя с кондинскими манси его удивило, «что остячки оказались самые обыкновенные люди. На них не было звериных шкур, не было луков в руках» [22, 24]. В ремарке явно отложились рудименты неизжитых культурных стереотипов, характерных для европейской образованности: дикари, конечно же, должны были быть «как на картинке» ...

Русские крестьяне в повести охотно используют на рыболовных промыслах одежду и очаги-чувалы, опыт изготовления которых позаимствован у коренного населения. С. Карцевский фиксирует, как в среде русского крестьянского населения происходят еще незавершенные процессы имущественной и культурной дифференциации. В земской квартире поставле-

на печь-голландка, а Даша прихорашивается перед зеркалом, оклеенным конфетными бумажками. Традиционно богачей Шаламов считает нужным пригласить на новоселье все село. Только комнаты в его доме уже обставлены по-городскому, даже имеется ручной органчик – «герофон» [22, 45-46].

Писатели исследуют воздействие социума на своих героев, но не абсолютизируют его. Их персонажи вполне реалистичны. Они порядочны или аморальны преимущественно по своей внутренней сути, безотносительно к их профессиональной деятельности. Весьма характерна нравственная позиция Лекандры (Никандры) Михеича, героя повести «Все мы хлеб едим (Из жизни на Урале)» (1882 г.). Сын богатого священника, имеющий возможность получить высшее образование и уже доучившийся до третьего курса, вдруг решает «опроститься», возвращается домой и переходит к крестьянскому труду. Обоснование его следующее: «Плутводство одно – это наше образование самое, и больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие-сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого-нибудь доктора или учителя гимназии. Кулак собственным лбом, по крайней мере, дорогу прошиб, а доктор или учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую стипендию. Тьфу!» [1, 129-130].

Эта колоритная личность, явно списанная с реального прототипа, выступает не столько против образования, сколько против подмены настоящей деятельности фантомом показной учености. Герой нацелен на конкретные дела, на физический труд и, поначалу, боится жениться на хрупкой юной Тоне, дочери старичка-капитана Гордея Федоровича, местного помещика, разоряющего крестьян. Литературоведческими разысканиями установлено, что писатель исключил из публикации ряд сюжетов. К ним, в частности, относится попытка создания Лекандрой учительского кооператива, пресеченная властями и самодеятельный концерт в доме Гордея Федоровича [23, 852-853, 855-856]. Интересна переключка образов двух геро-

ев Д.Н. Мамина-Сибиряка: Лекандры (Никандры) Михеича и Лександра Васильича Аргентского из очерка «На большой дороге». В психологическом отношении оба персонажа практически неотличимы друг от друга. Их многое объединяет: фамильярность имен, временная работа в школе, женитьба на учительнице, независимость в суждениях, жизненные ценности, неприхотливость в быту, проживание к югу от Екатеринбурга. Оба описаны автором как герои дорожных очерков.

Заметим, что в Шадринске проживало семейство Аргентовских. Оно славилось домашними концертами. Его главой был Павел Васильевич – ветеринарный врач. В юности он учился в Казанском университете, участвовал в революционной деятельности. Женой П.В. Аргентовского была Надежда Федоровна, урожденная Степовая, дочь местного помещика, служившего некогда исправником [24, 51]. Скорее всего, именно Аргентовский был прототипом двух вышеназванных персонажей. У литературных героев и реальных лиц много близкого в биографиях, фамилиях и именах: Тоня и Таисья. Последнее – имя матери Надежды Федоровны и, одновременно, одной из дочерей в их семействе [25, 211-216]. Насколько точно переданы реальные психические черты Аргентовских доподлинно неизвестно. Сведения о них сохранились благодаря краеведам, записавшим устные предания. Пока еще не осуществлено полноценных архивных разысканий по истории этого семейства.

Стоит ли отказываться в исторических трудах от использования литературных источников, в том числе произведений вышеупомянутых писателей? Полагаем, что ответ должен быть отрицательный. В ином случае мы фактически признаем тщетность исследовательских усилий по множеству направлений. Наше прошлое не ограничено «голой» статистикой, оно много шире и богаче официальной бюрократической отчетности. Однако на сегодняшний день в исторических исследованиях всё еще господствуют иллюстративные описания, без детального учета и последующего анализа религиозной, региональной,

возрастной и личной конкретики. Знание исторической психологии и общественного сознания, истории повседневности и, наконец, истории предпринимательства требует интеллектуального обращения к личностному началу, к общественным настроениям ушедшей эпохи, к её неповторимому аромату, к этнографическим деталям.

Всё это присутствует в анализируемых выше литературных текстах. Творчество писателей-реалистов основывалось на знании деталей российской провинциальной жизни, на освещении бытовых подробностей. Не случайно, что современники считали Ф.М. Решетникова и Д.Н. Мамина-Сибиряка бытописателями. Они и их коллеги оставили также великолепные описания Урала и прилегающих к нему территорий. Жанровая принадлежность таких текстов – путевые очерки или их элементы, включенные в состав основного повествования. Через многие авторские произведения красной нитью проходит противостояние между традиционным укладом и жесткими законами модернизирующегося общества, рынка. Бытописатели достаточно негативно, причем с опорой на действительные события, оценивали вторжение рыночных отношений в патриархальную среду.

Наличие достоверных невыдуманых материалов оказывается важным обстоятельством для историков. Наследие данных писателей, если им правильно воспользоваться, дает возможность сократить число лакун в сфере локальной истории. В частности, будет сокращен недостаток наших знаний о провинциальной культуре, об особенностях межэтнических контактов. Та ценная информация, которой располагали эти писатели, в ряде случаев использовалась ими параллельно или повторно. Дублирование сюжетов в литературных текстах – косвенное свидетельство их типичности и заимствования из реальной жизни. Это дополнительно содействует признанию данных текстов именно как исторических источников.

Произведения писателей-реалистов отличаются острой социальной направленностью. Преимущественное внимание в их текстах уделено внешним условиям существования. В меньшей мере раскрыты глубинные психические переживания отдельного человека или больших масс людей. К этим вопросам в приоритетном порядке обратятся отечественные писатели следующей волны.

Литература

1. Мамин-Сибиряк Д.Н. Рассказы. Легенды. Из далекого прошлого. Воспоминания. М., 1987. 464 с.
2. Мамин-Сибиряк Д.Н. Горное гнездо. Роман. Встречи. Очерки и рассказы. Свердловск, 1981. 432 с.
3. Телешов Н.Д. Рассказы. Повести. Легенды. М., 1983. 336 с.
4. Решетников Ф.М. Добрые люди: Очерки и рассказы. Свердловск, 1986. 400 с.
5. Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания: Избранные произведения. Тюмень, 1997. 368 с.
6. Успенский Т. Очерк юго-западной половины Шадринского уезда // Пермский сборник. Кн.1. 1866. Отд. IV. Смесь. С. 1-41.
7. Мамин-Сибиряк Д.Н. Сибирские рассказы. Т. 1. Свердловск, 1991. 368 с.
8. Немирович-Данченко В.И. Кама и Урал: Очерки и впечатления. Б/м., 1904. 445с.
9. Виноградов С. От Перми до Шадринска. Путевые наброски. // Шадринская старина. 1994. Краеведческий альманах. Шадринск, 1994. С. 118-123.
10. Мамин-Сибиряк Д.Н. Хлеб: Роман. Свердловск, 1984. 432 с.
11. Бирюков В.П. Лица и события в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб» // Уральский современник (Свердловск). 1944. №8. С. 87-90

12. Яковлев В.Я. (Богучарский) Очерки промысловой охоты в северных округах Тобольской губернии // Тобольский Север глазами политических ссыльных XIX – начала XX века. Екатеринбург. С. 333-357.
13. Бирюков В.П. Записки уральского краеведа. Челябинск, 1964. 144 с.
14. Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы. Свердловск, 1980. 448 с.
15. Матафонова Ю.К. Легенды и были ирбитской сцены // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000. С. 196-210.
16. Смирных А.И. Под знаком Меркурия или на орбитах Ирбита // Уездные столицы: Культурно-исторические очерки. Екатеринбург, 2002. С. 6-78.
17. Антропов И.Я. Были Ирбита. Ирбит, 1992. 178 с.
18. Митрофанова Л. Д.Н. Мамин-Сибиряк в контексте литературной, общественной и культурной жизни Урала 1880-х гг. // Урал. 2007. №11. С. 179-190.
19. Ершов М.Ф. Этнические маргиналы городов Зауралья конца XVIII – начала XX вв.// Социокультурное пространство сибирского города: история и современность: сб. научн. ст. Ханты-Мансийск, 2005. С. 3-23.
20. Мамин-Сибиряк Д.Н. Рассказы и очерки. Свердловск, 1980. 448 с.
21. Решетников Ф.М. Где лучше? Свердловск, 1987. 416 с.
22. Карцевский С. Ямкарка [б. м., б. г., отпечатано в ООО «Кондинская типография»]. 66 с.
23. Мамин-Сибиряк Д.Н. Полн. собр. соч.: в 20 т. Т. 1. Художественные произведения 1875-1882 гг. Екатеринбург, 2002. 912 с.
24. Иовлева В.Н. Шадринские улицы. Шадринск, 2002. 168 с.
25. Иовлева В.Н. Шадринск и его обитатели. Статьи разных лет. Шадринск, 2006. 268 с.

1.2. Творчество К.Д. Носилова: между христианством и свободой

«Он никогда не замахивался на крупные жанры, писательское дыхание его было коротким. Это не недостаток: из его сюжетов можно накроить немало повестей и романов, но он придерживался своего принципа. Писал только о том, что хорошо знал. Возможно, богиня фантазии не часто парила в его писательском кабинете, но ведь то, что он видел за многотрудную жизнь, для многих было поистине фантастично. Если читать все книги подряд, скоро начинаешь узнавать героев – они связаны и местом действия, и временем. Если задаться целью, можно проследить, как один рассказ как бы «вытекает» из сюжета другого. Сдается, наш автор молился одному богу – достоверности» [1, 135-136].

Эти чеканные строки тюменского публициста А.К. Омельчука из его книги «К. Носилов» для историка многое расставляют по своим местам. Нет сомнения, что правдивое литературное произведение, не обремененное авторской фантазией, будет, как никакой иной художественный текст, обладать ценностью исторического источника. Но признание этого обстоятельства не только не отменяет критики данного источника, но и, напротив, предполагает подключение особо тонких исследовательских практик. Причина их использования, в общем-то, проста. Применительно к творчеству К.Д. Носилова у исследователя отсутствует возможности применять наработки, пригодные для массовых источников.

Между тем, исследование взаимоотношений К.Д. Носилова с аборигенами Сибири представляется достаточно актуальным. Известно, что тексты зауральского путешественника широко используются как историко-этнографические источники. Специалисты, при дефиците информации о носителях традиционной культуры, достаточно часто обращаются к произведениям К.Д. Носилова. Вполне допустимое критичное отноше-

ние к автору многочисленных публикаций (ненаучный подход, предвзятость, излишняя легковесность, беллетристика) все же грешит некой ущербностью. При таком подходе личность самого Носилова по сути остается за пределами внимания специалистов, за рамками исследовательского интереса.

В советское время большая часть литературного наследия писателя не была востребована. В его произведениях слишком сильна была религиозная составляющая, неприемлемая для строителей нового мира. Переиздавались только отдельные рассказы о детях аборигенов. Соответственно, отсутствовало системное изучение творчества К.Д. Носилова. На сегодняшний день нет полной библиографии трудов писателя, рассыпанных по сотням старых и современных изданий, не проведено полноценное выявление архивных материалов о его жизни. Так в частности, в Государственном архиве города Шадринска слишком «тощий» личный фонд исследователя в основном состоит из фотокопий, опубликованных им некогда работ [2].

Достаточно кратка историография работ о Носилове. Всего несколько авторов написали очерковые научно-популярные работы о личности этого незаурядного человека. Среди них выделяются имена К.Н. Донских [3], В.П. Бирюкова [4, 445-460], Н.В. Вехова [5], А.К. Омельчука [1], Л.П. Осинцева [6] и Ю.Д. Охупкина [7]. Почти все эти историко-краеведческие работы были написаны в советское время с вполне определенной целью: они призваны возвеличить знаменитого земляка. Естественно, что неудобные вопросы в них либо замалчивались, либо сглаживались. Наверное, единственным исключением является работа А.К. Омельчука. В его публицистической книге присутствует аналитика, но поданная со строго официальных советских позиций.

Какие источниковедческие вопросы допустимо поставить при анализе текстов литературных произведений К.Д. Носилова? Важнейшим среди них будет вопрос о мировоззрении самого исследователя и его истоках. Как он воспринимал

окружающий его мир, и каким образом моделировал его в своем литературном творчестве? Каковы были причины, побудившие К.Д. Носилова заняться описаниями природного мира и людей традиционной культуры? Чем была порождена его мотивация к путешествиям? Что толкало известного исследователя провести значительную часть своей жизни вдали от привычного комфорта?

Разрешение данных проблем немислимо без понимания воздействия социального окружения на личность незаурядного человека. Кто же он такой, Константин Дмитриевич Носилов? Различные справочники сообщают о нем как о полярном исследователе, путешественнике, этнографе, журналисте, писателе. Родился в 1858 г. в семье священника с. Маслянского Шадринского уезда, умер в 1923 г. в местечке Пиленково в Абхазии. Между этими крайними датами лежит незаурядная жизнь, наполненная множеством событий, путешествий, сотнями публикаций. В России начала XX в. имя К.Д. Носилова было хорошо известно благодаря его литературному таланту и сотрудничеству с замечательными русскими педагогами и книгоиздателями Д.И. и Е.Н. Тихомировыми. Книги Носилова выходили массовыми тиражами в популярных сериях «Юная Россия», «Библиотека детского чтения», «Библиотека семьи и школы», «Учительская библиотека». Произведения К.Д. Носилова были неоднократно официально рекомендованы для изучения школьниками младших классов и воспитанниками кадетских училищ.

Причина столь большой популярности зауральского автора кроется в талантливой поэтизации природы, понимании сокровенного мира детства, и значимости духовных ценностей в жизни каждого человека. Истоки его творчества обнаруживаются в той сельской действительности, которая окружала будущего писателя в детские годы. Шадринский уезд был своеобразной стыковой территорией, на которой происходили контакты различных культур. Здесь встречались лес и степь,

Азия и Европа (административно Шадринский зауральский уезд относился к европейской Пермской губернии), люди неодинакового социального положения, разной этнической и конфессиональной принадлежности. В уникальном положении находилась семья самого Носилова. Стоит ли говорить, что священник и его близкие на селе всегда оказывались в центре внимания? А если, к тому же священник был достаточно образован, сравнительно богат и проживал в местности, где сосуществовали официальное православие и оппозиционное старообрядчество?

Не здесь ли скрыты причины специфического отчуждения Носилова от социальной действительности и подспудное стремление к одиночеству? Сам Носилов многое объясняет в цикле автобиографических произведений «Золотое время. Очерки и рассказы» в 1908 г. [8]. В рассказе «Мое первое путешествие (Из воспоминаний детства)» он вполне конкретно показал происхождение своих пристрастий. Одними из его ярких детских впечатлений были встречи с бродягами. Шадринский уезд лежал на столбовой дороге из Сибири в Европейскую часть России. Жители уезда летом на дорогах, бывало, встречали бродяг – многие из этих несчастных возвращались домой, «в Расею», сбежав с каторги или поселения. В местностях, где был беглый элемент, действовало неписанное правило: стороны относились достаточно благожелательно к друг другу. Доходило до того, что попадая, мать будущего писателя, могла попутно подвезти бродяг до города в своей конной тележке.

Ореол загадочности вокруг тех, кто путешествует, привел к тому, что на вопросы взрослых о будущей профессии малолетние братья Носиловы ответили по-разному. Старший из поповичей – Гино – заявил о желании стать архиереем, а вот младший – Константин – к неудовольствию родителей, решил стать странником! Сказано – сделано, ведь всякое неожиданное слово хорошо запоминается, особенно – в детском возрасте. И действительно, малолетнему пытливому мальчишке были

интересны только походы. Дошло до того, что он однажды, по собственной инициативе, самостоятельно отправился к расположенной в нескольких верстах от родного села знаменитой и многолюдной Крестовской ярмарки, одной из крупнейших в России [8, 100-113].

Следует учесть и иные, схожие обстоятельства. Для христианской культуры юродивые, странники, нищая братия были неотъемлемой частью повседневной религиозной жизни. У Носилова данный феномен исследован в цикле «Божьи люди» (1915 г.). В рассказе «Маленький Христос» Василий Симоновский, дедушка Константина, частенько радушно принимает у себя в доме, в селе Ичкинском, «странных людей»: монахов, странников, прохожих, старцев [9, 25-39]. Путешествовали не только нищие. В те, уже далекие ныне времена, при отсутствии хороших транспортных сообщений, родители, занятые хозяйством или службой, нередко отправляли детей в практически самостоятельное путешествие: погостить у дальних родственников, на учебу в уездный или губернский город. Хорошо еще, если юных путешественников в их многодневной дороге вез знакомый попутный ямщик или крестьянин, занятый извозом. Такое путешествие детей описано в рассказе «Возвращение со святок» (1910 г.). П. Инфантьев, автор рассказа, приходился родственником К. Носилу [10, 121-149].

В традиционной русской культуре детям вообще предоставлялась большая самостоятельность. Малодоходные сбор ягод, грибов, рыбалка с удочкой считались несерьезными, во многом детскими занятиями. В деревенском мире занимались рыбным или охотничьим промыслом, и это великолепно показано в автобиографических рассказах Носилова, люди не от мира сего: чудачки, одиночки, оригиналы. И напротив, такая мелочная подсобная работа для детей была хорошим средством социализации. В рассказе «За саранками» [8, 46-62] писатель передает собственные малолетние переживания: возьмут ли его старшие дети в лес, искать съедобные луковицы диких лилий?

Сельский социум умел создавать для начинающего промысловика положительную мотивацию. В рассказе «Горе-рыболов» (1911 г.) приводится традиционное приветствие рыбакам: «Клев на уд!» Отвечать полагалось: «Спасибо!». Однако, стоило мальчишке только один раз оказаться в смешном положении, как интерес к рыболовству у Константина пропал [11, 9-12]. Возможно, здесь проявилось отсутствие близкой дружбы со своими деревенскими сверстниками. Во всяком случае, в автобиографических рассказах её особо не отмечено. Еще раз обратим внимание, что семьи духовенства в деревне были на особом положении. Далее юного Константина привлекла охота. Еще более чем рыбалка она была удалена от человеческого жилья. В книжке 1911 г. «На охоте. Очерки и рассказы» [12] хорошо переданы впечатления от нового увлечения.

Но и профессиональным промысловым охотником Носилов не стал. Помешали ценностные установки, ненавязчиво переданные мальчику окружающими. Это уже упомянутый священник В. Симоновский, который держал у себя дома журавлей, но был против поимки им на корм лягушек. «Он учил нас любить и журавлей, и лягушек, говоря, что и лягушки хотят жить, как и журавли, и что для того, чтобы журавли были счастливыми, достаточно для них и одного гороха» – сообщалось в рассказе «Дедушкины журавли» [12, 40]. Это и ценитель природы, страстный охотник из деревни Погореловки (её подлинный географический прототип – Погорелка), описанный в рассказе «Дядя-кузнец». Он устроил для деревенских ребятишек у себя дома настоящий зоологический музей [12, 45-63].

Бережная охота, по их мнению, не предполагала истребления животных исключительно для собственного удовольствия. Нравственные принципы, сформированные в детстве, К.Д. Носилов пронес через всю жизнь. Он отрицательно относился к хищным действиям людей в животном мире. В рассказе «Птичий остров» (1908 г.) писатель показал варварское разорение самоедами гнездовой при добыче яиц. «Я, обыкновенно,

всегда убегал от этого тяжелого зрелища. Мне стыдно было за человека, за его кровожадность, за его безрасчетность, наконец... Нужно человеку чем-нибудь прокормить себя, – возьми от природы сколько требуется тебе, – возьми расчетливо, без озорства. Нет, – человек давит птицу руками и ногами, бьет её об скалу, топчет гнезда и яйца, словно обезумевши среди этого отчаянного птичьего крика и потоков крови, которая льется по скалам» [13, 87].

Еще один рассказ «В Киргизской степи» (1915 г.) посвящен эволюции поведения переселенцев из Украины в казахских степях. Вначале идет романтическое описание жизни на заимке в первые годы колонизации, когда у рассказчика «взрослые сыновья и даже дочери превратились как бы в дикарей и дикарок». Все новоприбывшие с увлечением занялись охотой. Первые восторги затем сменяется сухими негативными оценками: «Природа уступила свое место промышленности, и человек уже не охотился, а вел животноводство, не наслаждался природой, а выжимал из нее копейку. Девушки не скакали лихо на степной дикой лошади, а сидели у окошек нарядные и скучные, а молодые люди не пропадали на охотничьем промысле, забросив даже ружья, а ходили с гармониями и пьяным разгулом». В рассказе приводится предупреждение главного персонажа, переселенца-деда молодым охотникам: «выбьете дичь, перепугаете больше её, и она оставит эти места, благословленные Богом, предназначенные для человека».

Писатель показывает, что пренебрежение к природе меняет и самого человека: «Это была новая Россия. Даже изменился резко самый язык, наречие. Хохол выродился в какого-то жадного и не особенно приветливого сибиряка». Старший сын главного героя Никеша завел маслодельное предприятие, лавку, городскую обстановку, давал деньги в рост. Для его верующего отца всё это было нравственно неприемлемо:

– Вон кто работает на пашне у моего Никеша – киргизцы, рабы! Ну скажите, для этого мы ехали в степь, чтоб заводить

рабов и наживать на спине их деньги? Сказано в Писании: «В поте лица ешь хлеб», а мы вместо того завели торговлишку, обман. И вот ловим в эту петлю бедных киргизов и заставляем их обрабатывать взятое» [14, 63-74].

Носилов последовательно отрицает хищничество как по отношению к природе, так и по отношению к человеку. Для него подлинная вера несовместима с бесцельным убийством любого живого существа. Мальчик Зося, главный герой одноименного рассказа, сын богатого крестьянина и детский друг Константина, истово религиозен. Он поет на клиросе и озабочен тем, чтобы не впасть в грех. Однако религиозность Зоси отнюдь не мешает его охотничьим увлечениям. Характерна последующая взрослая оценка писателя поступков детей: «Какие мы дикари ещё, в самом деле!» [8, 63-85].

Под пером писателя Бог и природа сливаются воедино. Не случайно, что в коротком рассказе «Инок» (1910 г.), молодой монах-зырянин на Соловках обращается с призывом к своему собеседнику:

– Любите лес – закончил он, – в нем Бог! Лес – это храм для молитвы! [15, 67]. Здесь вполне допустим поиск культурных аналогий, но писатель Носилов в целом был далек от отвлеченных размышлений. В своих литературных произведениях он на множестве примеров не только передает красоту природы, но и доказывает, что животные также способны чувствовать, переживать, страдать. Таковы носиловские рассказы «Наши «инженеры», «Пип», «Клуша», «Ворона», «Пуночки», «Яхурбет».

Рассказ «Волки. Из детских воспоминаний» производит особенно сильное впечатление. Его начало просто и эпично: «Совсем не стало волков в нашей стороне, как и многого другого зверя. Да и где водиться нынче серому волку? Леса все повырублены и вывезены на дрова в город; болота, займища, где так любил прятаться и устраивать себе логово волк, уже все высушены». Теперь крестьяне перестали бояться зорить

волчьи гнезда. Что же их сдерживало раньше? Многое, в том числе и страх, что потерявшая щенков волчица придет и будет выть под окнами избы охотника.

«Говорят, что это ужасное зрелище, – сообщает писатель – волчица худая, облезлая, голодная, думающая только о щенках, с жалким выражением глаз, которые то вспыхивают недобрым зеленым огоньком при виде человека, то покрываются слезами, неотступно преследует охотника. И случается, что даже черствый крестьянин и тот отступает перед её материнской любовью и уходит прочь от её логова, не вынеся её жалкого вида». Воспоминания детства о волках, о том, как эти хищники зимой резали домашний скот, для Носилова оказываются только зачином, художественным способом донесения до читателя естественности и красоты природного мира. Писатель отнюдь не против охоты на опасных хищников, он боится другого – их полного истребления [8, 1-30].

Такое восприятие природы во многом объединяло взгляды К.Д. Носилова с мировоззрением коренных народов Севера. «Первобытное сознание не ставит резкого водораздела не только между отдельными индивидами, но и между человеком и природой вообще. Силы природы еще не противопоставлены человеку, а находятся с ним в таинственной связи. Он принадлежит к ним, а они продолжают его» – замечал И.С. Кон [16, 125]. Для Носилова жизнь аборигенов Севера во многом была куда более естественна, чем у его цивилизованных и образованных современников. Будучи религиозным человеком, писатель считал, что близость к природе перевоплощается в близость к Богу.

В книге «На Новой Земле» исследователь, фиксируя мифические рассказы аборигенов об их встречах с Николаем Святителем, случаи ясновидения и предсказаний будущего в их среде, делает поразительный вывод: «Кто знает, читатель, быть может, мы с вами, живя среди довольства, роскоши, родных, друзей, по самому содержанию нашей жизни, не можем читать

тех заповедных страниц книги природы, которые открыты этим дикарям... Кто знает читатель, быть может, эта чистая душа дикаря и его детство привлекают к нему того, кто, кто всю жизнь приходил к погибающим и обремененным, и он приходит и теперь к тем, кто действительно предоставлен самому себе в этой суровой обстановке жизни, кто действительно способен верить и молиться... Как много мы еще не знаем в природе. Но это еще ничего: досадно то, что мы так уверены в себе, так слепы ко всему подобному... И мы будем всегда такими, потому что не имеем такой чистой души как этот дикарь, не умеем верить и молиться...» [17, 17-32].

Интересно, что для Носилова отсутствовало «любое» противопоставление между аборигенами с их наполовину языческими, наполовину христианскими представлениями и официальным православием. В обоих случаях подлинная вера означала для автора свободное присутствие на территории чудес. «Станный народ, странная жизнь, странные верования, – размышлял Носилов о религиозных представлениях коренных жителей Конды, – но я думаю, что эта странность многое потеряет, если мы, отбросив свои предвзятые взгляды, просто заглянем глубже в нашу жизнь, взглядем в некоторые странные случаи из нашей жизни, в которых нельзя не найти чего-то такого, что уже знакомо тем детям природы, которых мы называем дикарями...» [18, 23].

Для внутреннего мира писателя чудеса были почти обыденны в экстремальной жизни на Новой Земле или в глухих таёжных дебрях Кондинского края. Но чудеса для него были вполне возможны и в стенах Долматовского духовного училища, где учился малолетний Костя Носилов. Жизнь воспитанников этого училища в середине XIX в. была достаточно сурова. Мальчик, вырванный из родного дома, оказался далеко не в добром мире: «Нас били и наказывали, драли за каждую малость, и не проходило ни одного урока без подобных жертв, которые робко сами шли на кухню к старому солдату для сечения. В классах

били нас учителя по чем ни попало, били по лицу, били по шее, таскали за волосы, как таскают пьяные подмастерья своих несчастных учеников», – так описывал годы своей детской учебы Носилов в рассказе, посвященном монаху Августину.

Именно схимник Августин сумел поддержать отчаявшегося мальчишку и показал ему образец подлинных человеческих чувств. Он смог нейтрализовать для своего подопечного, как угрозу унижительного сечения на кухне, так и повторное желание ученика сделаться бродягою. К келье старца многие верующие приходили за утешением и даже публичным покаянием. Существовало множество преданий о его святости, прозорливости, способности предсказывать людям их грядущее. Часть предсказаний старец передавал для бабушки будущего писателя, с которой был лично знаком [9, 3-24]. Итак, перед впечатлительным мальчиком вновь возникли два мира: свободный мир природы, подвижничества, добра, уединения и несвободный мир, в котором царили человеческая жестокость, формальное обучение и официоз.

Стоит ли удивляться, что в последующем Носилов так и не закончил Пермской духовной семинарии, не получил высшего образования, хотя и слушал лекции в Парижской Сорбонне. Он выбрал свободу (передвижения, творчества, вида занятий) и – одиночество. С одной стороны этого исследователя отличали широчайшая эрудиция, стремление к новому, а с другой – отсутствие подлинной научной системности, четкой специализации, а в ряде случаев и почти демонстративное отчуждение от социума. Здесь, несомненно, имеется прямое сходство принципов Носилова как с христианскими традициями (к Богу близки наивные, не испорченные люди и безгрешные дети), так и с просветительскими идеалами, идущими от Руссо (близкие к природе благородные дикари, не испорченные цивилизацией).

Заметим, что данная позиция была достаточно распространена в российском обществе. По мнению американского исследователя Ю. Слэзкина, еще в первой половине XIX в., в

глазах образованных русских, «Невинная Природа породила невинных детей, и вскоре сибирский литературный ландшафт оказался населен гордыми туземцами, которые, которые «бесстрашно бродили вокруг шаманских могил», не ставили ничего превыше свободы и наслаждались простыми радостями беззаботного кочевого существования» [19, 95]. К.Д. Носилов, как провинциальный писатель, также был вынужден придерживаться определенных литературных традиций. На литературном горизонте он не был звездой первой величины и в своем творчестве представлял для образованного читателя уже во многом привычные, узнаваемые туземные темы. Он писал о том, что импонировало ему лично, и что было благосклонно востребовано широкой читающей публикой.

Так, например, его освещение мира детства на примере разных этносов (русских, вогулов, самоедов, киргизов) интриговало читателя и неплохо служило просветительским целям. Детские персонажи К.Д. Носилова («Сестра Оля», «Таня Логай», «Таня Богданова (Из уральской старины)», «Юдик», «Дедушка Савва и его внуки», «Галейко. Из жизни киргизов» и др.), всегда максимально симпатичны и практически лишены недостатков. При этом их индивидуальные качества во многом растворены в клишированных сентиментальных описаниях. Сложно сказать, какие причины превалировали в подобном выборе писателя: литературная конъюнктура, его подспудная тяга к детям и полноценной семейной жизни (Носилов очень поздно обзавелся потомством), чувство подлинного гуманизма или сохраненная уже взрослым человеком свежесть собственных детских воспоминаний?

При создании детских образов, в первую очередь образов детей аборигенов, К.Д. Носилов с удовольствием демонстрирует запоминающиеся экзотические детали, непривычные для «обычного» юного русского читателя. Однако автора подводит его мировоззренческая заданность. Исходя из лучших побуждений, читателю предлагается непременно любить (или

как минимум – жалеть) этих литературных героев. Разумеется, что только на основании этих художественных творений невозможно полноценно изучать этнографию детства. В произведениях Носилова по отношению к туземным детям, как и к аборигенам вообще, во многом реализована привычная российская парадигма. Для их блага обязательно нужно немедленно что-то делать: проявлять эмоциональные чувства, распространять христианство, осуществлять просветительские проекты.

Симпатизируя миру традиционной культуры, К.Д. Носилов вовсе не идеализировал его. Он не избегал публичного обсуждения деликатных вопросов: распространения пьянства, антисанитарии, болезней, темных суеверий в среде аборигенов. В то же время он не снимал ответственности за бедствия коренных народов Севера с русского общества в целом, предпринимательских слоев и официальных властей [20]. Он многое сделал для того, чтобы застарелые проблемы не были скрыты за заговором молчания. По его мнению, назрела острая необходимость в радикальном изменении культуры и социальных отношений в аборигенной среде.

Трансформация культуры понималась им однозначно. Для Носилова-христианина были неприемлемы кровавые жертвоприношения. Он не скрывал, что испытывал тяжелые чувства, наблюдая ритуальное умерщвление и поедание оленей. Интерес этнографа здесь вступал в противоречие с его мировоззрением, в котором осуждалось мучительное убийство животного [18, 36-43, 104-108]. Изучение народов Севера не было основной целью для К.Д. Носилова. Он надеялся на христианизацию аборигенов и фактически сам неоднократно выступал как миссионер. Чтение Евангелия, осуждение идолопоклонства, организация христианских праздников, поиск денежных средств и хлопоты по строительству храмов, многочисленные публикации в церковных изданиях – эти и иные его действия невозможно трактовать иначе как миссионерские. По мысли Носилова христианизация «дикарей» должна была идти парал-

лельно с распространением русской культуры, образованием и даже благодетельной, по его мнению, русификацией.

Носилов отдавал себе отчет, что быстрые успехи на этом пути невозможны. «Вот уже двадцать лет как я их наблюдаю, а незаметно, чтобы этот народ перенимал русскую жизнь» – замечал он в очерке «Вогульская школа» [18, 278]. Появление в творчестве К.Д. Носилова очерков «Вогульская школа», «Школа у остяков», «Самоедская школа» и «Киргизская школа» далеко не случайно. Исследователь постоянно пытался обнаружить в аборигенной среде те явления, которые бы свидетельствовали, по его мнению, о сдвигах к лучшему. Он оптимистично фиксировал разнообразные приметы ожидаемой им новой жизни, будь то знание русского языка, распространение фабричной одежды и самоваров в быту или случаи христианского усердия у народов Севера.

В разговоре с неким старичком, жителем Обдорска, Носилов защищал новообращённых аборигенов от нападок своего критичного собеседника: «что нам за дело до того, как выражают свою веру дикие люди; раз они выражают её – они уже веруют, раз веруют – они научатся после и поклоняться. Время сделает их истинными христианами, как нас с вами, потому что и наши предки, вероятно, имели не менее их суеверий» [21, 318]. Его ожидания, далеко не всегда были оправданы, и исследователь пытался обнаружить причины собственных неудач. Одна из них – наивные упования на цивилизующую роль «нормальной» торговли.

Очерк Носилова «Через десять лет» фактически явился публичной исповедью о совершенной лично им ошибке. Разработав маршрут от Северной Сосьвы к бассейну Печоры, и пригласив, в противовес своекорыстному березовскому купечеству, крупнейшего и достаточно культурного сибирского предпринимателя А.М. Сибирякова для торговли с аборигенами, исследователь надеялся на улучшение их жизни. Этого, однако, не произошло. Развитие рынка спровоцировало рост

потребностей, усилило обнищание и алкоголизм. «Ситец вместо своего холста из волокна крапивы, сукно вместо налимьей кожи, оленины, разнообразных шкур; сапоги, бродни вместо оленьих пимов и сапог из той же оленьей шкуры; чай, вино, белый хлеб, когда прежде они обходились почти вовсе без хлеба, употребляя мясо и рыбу, всё это потребовало от дикаря средств и средств» – вынужден был признать исследователь. Он даже задавался вопросом, о том, что, теперь, может быть, придется защищать «дикаря» от цивилизации [18, 166-170].

К.Д. Носилов и далее не потерял оптимизма и продолжал сохранять позитивный настрой. Он не отказался от попыток привнесения в северную глушь новых культурных норм, но сместил свой интерес к освоению Ямала, в том числе – к прокладке через полуостров морского канала, сокращавшего путь из Сибири. Благодаря Ямальскому каналу планировалось подключение к международному рынку больших сибирских территорий [22, 323]. Уточним, что от этого переноса активности позиция исследователя не стала более взвешенной – идея канала оказалась далека от основательной проработки и, соответственно, так и не была реализована [1, 176-191]. Носилов по-прежнему надеялся на быстрое экономическое преобразование заброшенных северных пространств. Это была своеобразная вера в чудеса технического прогресса, характерная именно для рубежа двух веков.

Такая вера была далека от пассивной созерцательности. Её неофитами становились деятельные люди, не жалевшие личных усилий для блага общества. Чудесные ожидания от возможностей технических решений у них сочеталась с неоправданными надеждами на скорое улучшение социальных отношений. Интересно, что подобные оптимистические ожидания были во многом спровоцированы общей социально-экономической отсталостью России от Западной Европы. Данное обстоятельство объективно порождало настоятельную потребность в модернизации страны. Вся Россия и особенно её пери-

ферийная часть, были поражены комплексами собственной неполноценности. Непродуманные и откровенно недостоверные сведения о технических проектах, намного опережали уровень развития техники и технической грамотности [23, 224-225].

Стремление к лучшему оборачивалось тягой к популярным знаниям, верой в благодетельность эксперимента вообще. В какой-то мере вся жизнь К.Д. Носилова стала своеобразным журналистским и писательским откликом на интеллектуальные запросы людей того времени, длительным социальным экспериментом, осуществленным на удаленных друг от друга географических пространствах. Он участвовал в экспедициях на Северный Урал и Ямал. Писатель посещал в юго-западную Сибирь, Алтай, Грузию, Казахстан, прибрежные территории Белого и Каспийского морей. Он побывал в Палестине, Египте, Турции, Греции, Манчжурии, Монголии, Норвегии, Швеции. Жил во Франции, трижды зимовал на Новой Земле.

По своим идеалам Носилов был отчасти близок к католическому святому Франциску Ассизскому, тому самому, что проповедовал перед цветами и птицами. Г.К. Честертон парадоксально резюмировал, что Франциск «не любил природу». По мнению английского мыслителя, этот святой «не видел леса из-за деревьев. Он и не хотел видеть леса. Он хотел видеть каждый дуб, каждый тополь, ибо тот сын Богу, и потому – брат человеку. Франциск не желал стоять на условных подмостках, где нарисован на заднике лес; можно сказать, что он был слишком деятелен для действия. В его театре подмостки оживали, всё выходило на авансцену, все освещалось огнями рампы. Каждый предмет становился персонажем, действующим лицом. Вот почему как поэт он прямо противоположен пантеисту. Он не звал природу матерью: он звал братом вот этого осла, сестрой – вот эту ласточку» [24, 54-55].

Отличительными чертами личности Носилова также были нацеленность на положительные действия, гласное обсуждение значимых земных проблем. Его, бывало, подводили жур-

налистская назойливость, стремление быстрее донести до читателя свежую новость, еще неизвестную широкой публике. Извиняло эту торопливость одно обстоятельство: искреннее желание сделать как лучше. Носилов не стал академическим учёным и не пытался подняться до широких обобщений, он жил конкретикой добрых дел. Подобно своему католическому собрату наш российский исследователь предпочитал кабинетной научной отстраненности гордое одиночество полезного путешествия. Как подлинный миссионер он не ограничивался смиренной монашеской безопасной кельей (благоустроенной дачей), но выходил из неё для спасения встреченных живых душ на широкие просторы природного мира.

К.Д. Носилов – что весьма характерно – на бытовом уровне был технически подкованным человеком. Для него фотоаппарат, геодезические приборы, паровой катер, печатная машинка и даже недавно созданный диктофон были вполне привычными помощниками. Однако наличие под рукой полезных технических приспособлений отнюдь не делало нашего исследователя обладателем профессиональных инженерных знаний. Точно также хорошее знание местности к Востоку от Уральских гор не превращало его в специалиста по региональной экономике или прокладке железных дорог. Между тем, азартный К.Д. Носилов постоянно публиковался в периодической печати, консультировал те или иные проекты, горячо обсуждал вопросы, связанные со строительством железнодорожных магистралей в Зауралье. Общественное обсуждение этих вопросов тогда было настолько острым, что оппоненты нередко переходили на выяснение личных отношений.

Данное равнодушие и общественная активность в определенной мере роднили исследователя и со строителями нового мира, пришедшими к власти в 1917 г. Известно, что большевики привлекали маститого исследователя, в последние годы его жизни, к разработке ряда северных проектов. Однако, Но-

силов, в отличие от победивших революционных культуртрегеров, максимально ценил личную свободу и органически не принимал насилие. В 1907 г. с его подачи разразилась газетная полемика, отображенная на страницах столичного «Нового времени» [25] и провинциальных «Пермских губернских ведомостей» [26]. Носилов обвинил земского врача из Шадринского уезда Любимова в смерти пациентки и в принадлежности к социал-демократам. Заметим, что определенные основания для подозрения врача в сочувствии к революционерам у Носилова были, хотя врачебный совет и поддержал Любимова [27].

Носиловское стремление к свободе, по сути, было всеобъемлющим. Как только появились соответствующие материальные возможности, писатель предпочел жить не в городе и не на селе, а поближе к природе, особняком, на собственной даче. К.Д. Носилов, судя по сохранившейся не слишком большой переписке, ни с кем не поддерживал особо тесных контактов. Его связи с учеными, писателями, общественными деятелями в целом были благожелательными, корректными, но не более того. С близко живущими крестьянами он поддерживал добрососедские отношения. В случае острой нужды Носилов мог помочь – и помогал! – своим бедным соседям. Но это была помощь не равного по положению своего брата соседа, а доброго, просвещенного, богатого и чудаковатого барина, ставящего себя много выше крестьян. По устным преданиям шадринцев, в годы Гражданской войны доброжелательные отношения не помешали крестьянам разграбить дачу Носилова и разбить её зеркальные стекла. Весьма характерны воспоминания носиловского кучера Степана: «У него большой покос был. Сено косить – помощь. Кому охота и неохота – все шли. Вечером попойка. Раздерутся. Носилов говорит:

– Степан, пушчай дерутся, только без палок!

Сам выйдет на балкон, смотрит. Вот один другого огрел, тот и с ног долой. А Носилов говорит:

– Хорошо бьет, каналья!

Или пароход подымать. Мужики придут, веревками пароход подымут, а потом напьются – ноги кверху» [6, 11].

Официально Носилов никогда не был в браке. Одно из немногих его художественных произведений, посвященных социальной проблематике русского Зауралья, носит примечательный заголовок: «Как люди женятся. Рассказ из сибирских нравов» (1896 г.). Сюжет его, наполненный этнографическими подробностями зауральского быта, достаточно прост. Купеческий сын вынужден жениться по недомыслию, чтобы не обесчестить отца невесты [28]. Неизвестно, является ли автобиографическим еще один рассказ – «Вешний лед» – о краткой любви между путешественником и ветреной красавицей «дикаркой» с верховий Конды [29]. Куда большей достоверностью обладают сведения, полученные краеведами о прямых потомках К.Д. Носилова на реке Печоре. Из тех краев Носилов привез в Шадринск юную старообрядку Арину Лызалову. Различия в культуре и боязнь «греха» привели к тому, что беременная избранница Носилова предпочла вернуться на родину... [30]. Весьма жестко обрисовал матримониальное поведение писателя В.П. Бирюков: «Живя на своей даче «Находке» лишь периодами, путешественник довольствовался временными связями с женщинами, которые были у него на положении экономок, старшей прислуги. Не обошлось при этом и без драмы. Попала в такие временные жены одна любящая душа. Сколько помнится, фамилия её – Мальцева. Привязалась она к Константину Дмитриевичу всей душой, и когда он легкомысленно стал предпочитать другую, покончила самоубийством. Это случилось примерно в 1907 г.» [4, 445-460].

За грехи молодости церковные власти Шадринска налагали на Носилова епитимью [1, 215]. Известно, что он перелгал свою руку сестре шадринского фотографа С.С. Мамаева Антонине, не рискнувшей выйти замуж за путешественника [6, 43]. Только на шестом десятке лет у писателя появилась постоянная привязанность, гражданская жена много моложе его, –

Дарья Романовна. В 1917 г. у них родился первенец Виктор, затем дочь Юния. Нравы того времени были снисходительны к холостому человеку из «приличного общества». Его возможные связи с простолюдинками и заботы о внебрачных детях не предполагали обязательного церковного венчания. Создание полноценной семьи, и однозначное следование общепринятым нормам не были для К.Д. Носилова на первом месте.

Применительно к реалиям XXI в. его можно было бы назвать «фрилансером», своеобразным вольным стрелком, причем не только на профессиональной стезе – журналистике – но и много шире, по жизни. Путешествия и литературные гонорары сводили к минимуму внешние дисциплинирующие практики и обеспечивали К.Д. Носилову материальную и определенную социальную свободу. Тот культурный ландшафт, в котором он находился и который описывал в своих произведениях, был выразителен и немногочислен. В предельном основании пространство Носилова сводилось к природе, дому и храму. Достойное существование человека одухотворялась здесь приобщением ко всему живому, приобретением знаний, полезной деятельностью и искренней религиозной верой. Литературные тексты К.Д. Носилова не ограничиваются ценностью только этнографических источников. Диапазон их охвата много шире. Здесь имеется информация для исторической психологии, истории религии, экономической истории и ряда других гуманитарных дисциплин.

Литература

1. Омельчук А.К. К. Носилов. Свердловск, 1989. 240 с.
2. Государственный архив города Шадринска (далее – ГАШ). Ф. р-1070
3. Донских К.Н. Константин Дмитриевич Носилов: биографический очерк // Исетский край. Сборник краеведческих статей. Вып. 2. Шадринск, 1931. С. 59-78.

4. Бирюков В.П. Избранные труды. Шадринск, 2008. 624 с.
5. Вехов Н.В. Константин Дмитриевич Носилов и Север (1870-1910-е годы). Шадринск, 2000. 71 с.
6. Осинцев Л.П. Носиловские дачи. Курган, 1993. 104 с.
7. Охупкин Ю.Д. Зауральский странник: материалы к биографии К.Д. Носилова. Екатеринбург, 2012. 220 с.
8. Носилов К.Д. Золотое время. Очерки и рассказы. М., 1908. 140 с.
9. Носилов К.Д. Божьи люди. Рассказы. М., 1915. 39 с.
10. Инфантьев П. Сибирские рассказы. М., 1909. 160 с.
11. Носилов К.Д. Горь-рыболов // Читальня народной школы. 1911. Вып. IV и V (апрель и май). С. 1-26.
12. Носилов К.Д. На охоте. Очерки и рассказы. М., 1911. 93 с.
13. Носилов К.Д. На диком Севере. Первый сборник рассказов. М., 1908. 115 с.
14. Носилов К.Д. У дикарей. Рассказы. М., 1915. 74 с.
15. Носилов К.Д. В лесах. Рассказы и очерки. М., 1910. 70 с.
16. Кон И.С. Открытие «Я». М., 1978. 367 с.
17. Носилов К.Д. На Новой Земле. Очерки и наброски. М., 1903. 330 с.
18. Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. Тюмень, 1997. 304 с.
19. Слѣзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008. 512 с.
20. Носилов К.Д. В защиту обских инородцев // Восточное обозрение. 1885. №13. С. 8-9.
21. Носилов К.Д. На Новой Земле. Очерки и наброски. Тюмень, 1997. 368 с.
22. Огрызко В.В. Североведы России: Материалы к биографическому словарю. М., 2007. 560 с.
23. Ершов М.Ф. Социокультурная эволюция образов человеческого пространства: общетеоретические и конкретно-исторические аспекты. Ханты-Мансийск, 2013. 276 с.

24. Честертон Г.К. Вечный Человек. М., 1991. 544 с.
25. Носилов К. Земская больница // Новое время. 1907. №13 (26).
26. Письмо в редакцию // Пермские губернские ведомости. 1907. От 17 окт.
27. ГАШ. Ф. 429. Д. 2296. Л. 14.
28. Носилов К. Как люди женятся. Рассказ из сибирских нравов // Русская мысль. 1896. Кн. VII. С. 75-86.
29. Носилов К. Вешний лед // Шадринский гусь. 1994. №2. С. 5-7.
30. Липатова Л. Носилов Константин Дмитриевич. Писатель, путешественник, инициатор первой экспедиции на полуостров Ямал (1858-1923) // Губкинская централизованная библиотечная система. Электронный ресурс: URL: www.gcbs.ru/tum/issled_Sibiri/Nosilov.html. Дата обращения: 19.02.2015 г.

1.3. Социально-психологический анализ в орнаментальной прозе

Рубеж конца XIX – начала XX вв. – время удивительное. Мировая цивилизация тогда вступала в позднеиндустриальную фазу своего развития. Закончился экстенсивный период становления рыночных отношений, необходимо было переходить на рельсы интенсификации. Это касалось не только экономики, но и социальных отношений, шире: культуры в целом. Качественные изменения почувствовали многие: от Дж. Гоббса с его работой «Империализм» (1902 г.), Р. Гильфердинга, автора «Финансового капитала» (1910 г.) до В.И. Ленина, написавшего «Империализм как высшая стадия капитализма» (1914 г.). Радикально менялся мир людей, менялись его отдельные части. Очеловеченное пространство всё более нивелировалось, обретало множество общих черт, оно сделалось легко «узнаваемым» для внешних наблюдателей. Окончательное «открытие» провинции, её осознание содействовало смене направлений в литературных текстах. Возникла потребность в новых художественных средствах для качественно иного познания провинции. Остается выяснить лишь одну «малость»: какие новые черты появились у литературных произведений и как их использовать в качестве историко-этнографических источников.

Однако прежде необходимо понять произошедшее изменение роли провинции. Дело в том, что прежний провинциальный социум постепенно начал утрачивать свои посреднические функции в индустриальном мире. Провинциалы, прибывавшие в столицы, попадали здесь в своеобразную ловушку. Теперь столица почти не нуждалась в приезжих интеллектуалах с оригинальными мыслями. Ей требовалось иное – квалифицированная, дисциплинированная и обезличенная рабочая сила. Данное обстоятельство имело ряд последствий. Иногородному человеку, чтобы закрепиться в столице, как минимум, требова-

лось расстаться с провинциальной идентичностью. А для того, чтобы добиться известности, было необходимо удивить пресыщенное местное население своим эпатажем. Серебряный век русской культуры – это появление на столичной культурной арене многочисленных мигрантов с нарочито вызывающим поведением, вплоть до аморальных поступков.

Ранее провинциалы были здесь заняты репрезентациями провинциальных реалий. Но с развитием средств массовой информации, провинция оказалась изучена и стала мало интересна столичным жителям. «Провинция уже не воспринималась как некая экзотическая страна, открытая попавшим за первую заставу столичного города образованным человеком» – обоснованно замечают В.Н. Козляков и А.А. Савостьянова [1, 194-195, 262]. Провинциальный мир, утрачивая в столице высшего заинтересованного арбитра и заказчика посреднических услуг, оказался обречен на самостоятельное, почти одиночное существование [2, 228-262]. Возросли его самоуважение и нужда в самоидентификации и самоопределении. Соответственно, литераторы, отойдя от путевых и этнографических описаний, сосредоточили своё внимание на психологии провинциалов. И у самих провинциалов появилась потребность в анализе собственного места проживания в очеловеченном пространстве.

Местные земские деятели, журналисты, писатели как могли и как умели, отвечали на злободневные вопросы. Может быть, максимальной основательностью среди них отличался выходец из Нижнего Новгорода А.М. Горький. Будучи провинциалом по происхождению, он и в столицах остался на положении культурного маргинала, не смог укорениться, что называется, не прижился окончательно. Именно Горький смог наиболее последовательно и системно препарировать провинциальную действительность. В цикле произведений «Городок Окуров» (1909 г.), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910-1911 гг.) незаконченной повести «Большая любовь» (1909 г.) он осуществил реконструкцию социальных отношений, существующих

в масштабе уездного города. Пролетарский писатель не сомневался, что в этих работах он реализует не только художественную, но и историческую миссию. В начале 1910 г. он замечал в письме к А.В. Амфитеатрову: «Наступают на меня десятками эти российские люди и каждый просит: меня запиши! Тоже хороший человек был и зря прожил всю жизнь. Уговариваю: отступитесь братцы, я вам не историк! А они: «Да кому, окромя, историком-то нашим быть? Эх, землячок, ты гляди, чего делают писателе-те, совсем нас, Русь, похерили в сердцах своих!» Монахини, канатчики, бродяги, окурловцы идут, идут, идут. И чувствую, что мне с ними, как будто не по силам справиться» [3, 521].

Перед писателем, который не понаслышке знал провинцию, встала проблема типизации, создания обобщенного образа провинциального городского социума и местного очеловеченного пространства. Наиболее ярко такой образ представлен в повести «Городок Окуров». Это действительно изображение заурядного города. Повесть начинается с описания пригородного и собственно городского ландшафтов. Автор перечисляет ближние деревни, реку Путаницу, разделяющую город, его очертания, районы, улицы. «Город имеет форму намогильного креста: в комле женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, на левом крыле – серая о старости тюрьма, а на правом ветхая усадьба господ Бубновых, большой облупленный и оборванный дом: стропила на крыше обнажены точно ребра коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот. Кроме монастыря есть еще две церкви: новый чистенький и белый собор во имя Петра и Павла, и древняя деревянная церковка Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах луковках, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину и недавно выкрашенной в синий и желтый цвета.

Мещане в городе юркие, но – сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии; жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, коты, шарфы, фуфайки и дорожные мешки, – это рукоделие издавна привила им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязанием, посылает его к Макарию на ярмарку и, должно быть, эта работа развила у жителей любовь к яркой окраске домов» [3, 8].

В этом тексте присутствует явная стилизация под историко-статистические описания конкретных городов второй половины XIX в. У читателя, таким образом, возникает ощущение достоверности. Писатель отдает должное социологической составляющей в образе городка Окурова. На страницах повести проходит череда типичных персонажей, обязательных для каждого города. Горький отмечает имущественное, сословное и даже территориальное разделение горожан (районы Шихан и Заречье) и притеснение со стороны городского населения приезжих крестьян. Но, в тоже время, он фиксирует множество положительных моментов: относительное материальное благополучие, психологическую близость между жителями, взаимную терпимость, благотворительность «отцов города», явные успехи в благоустройстве жилой территории.

В городе успешно развивается культура, местные жители понимают выгоды от образования: «так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию:

– Всех девок, видно, замуж не выдашь, – стало быть пусть идут на службу в учительницы!» [3, 9]. К положительным приметам нового времени относятся также спектакли местного кружка любителей комедии и драмы; горожане любят хор во главе с войсковым начальником Покивайко. Если бы писатель остановился только на этих частностях, то, наверное, из-под его пера вышло бы непритязательное сентиментальное чтиво, так похожее на современные ностальгические описания домо-

рощенных краеведов о прежней России, которую мы некогда почему-то «потеряли».

Но Горький – и в этом величие писателя! – идет много дальше простой фиксации общеизвестных типичных экономико-географических, и социологических и этнографических фактов. В городе подспудно нарастает недовольство, идет скрытый процесс осознания новых реалий. Не слишком-то грамотные жители Заречья в своих разговорах начинают подвергать ревизии прежде так ясные и понятные им максимы, о содержании которых и спорить-то вроде бы не пристало. Своеобразным мещанским идеологом здесь выступает маргинал Яков Тиунов. Россия предстает в его сентенциях как государство «бесспорно уездное». Ведь губернских городов несколько десятков, а уездных – тысячи. Москва при таком раскладе оказывается некой «бобровой шапкой» на нищем человеке [3, 15-16].

Тиунов постепенно подводит своих слушателей к тому, что главный в государстве – мещанин. Но ему, человеку мещанского сословия, мешают жить люди с нерусскими фамилиями. Вообще-то, применительно к Окурову, немцев здесь всего три человека, но каких: председатель земской управы, земский начальник и исправник! А затем отрывочные сведения о японской войне и революции выводят толпу на улицы городка и смешивают в один кровавый клубок, где нет правых и виноватых и резонера Тиунова, и убийцу силача Бурмистрова, и других горожан. Интересно, что экономические противоречия в масштабах уездного городка не выглядят выпукло, ярко. Они далеко не на первом плане. В повести Горького их затмевает психопатология российской Смуты.

Жители городка, потеряв прежние нравственные ориентиры, постоянно совершают немотивированные ситуативные поступки. Их поведение Б. Емельянов определил, как «реваншизм раба» [3, 531]. Такой реваншизм плохо поддается последовательному рациональному объяснению. Но, в определенных случаях, применение художественной реконструкции

оказывается близко к строго научным умозаключениям. Так, например, на рубеже XIX и XX вв. психологическая наука начала интересоваться феноменом толпы. Как заметил французский исследователь того времени Г. Тард, толпа «обнаруживает присущую ей неустойчивость. Состоя из людей, в отдельности довольно здравомыслящих, толпа легко становится коллективно безумной» [4, 366].

По мнению современного российского философа Б.В. Маркова, город, по своей природе, много больше чем набор знаков. Он «представляет собой территорию, пространство, которое организует, упорядочивает и в каком-то смысле формирует индивидуальное и общественное тело» [5, 155]. Следуя подобному умозаключению, допустимо предположить, что Горький в своей повести, с помощью художественных средств, попытался осуществить моделирование социального тела, находящегося в состоянии жесточайшего кризиса. Данный подход, кстати, объясняет интерес писателя-гуманиста к такой неприглядной стороне города Окурова как местный публичный дом с неказистой жизнью его обитателей. Это не погоня за занимательностью сюжета. Напротив, сцены в заведении Фелицаты тормозят действие романа, он становится вязким, «тягучим». Но они – необходимая часть полной реконструкции уездного городского тела, у которого существуют не только парадная, но и низменная, телесная сторона.

И в других своих произведениях писатель не чурался почти этнографических описаний темных сторон жизни, неприглядного, но привычного всем поведения многих горожан, жертвами которых оказывались дети, девушки, женщины, все, кто проявлял хоть какую-то слабость. Перечисления жестоких городских нравов также неоднократно присутствуют в «Жизни Матвея Кожемякина» [2, 185-187] и в знаменитой автобиографической трилогии «Детство», «В людях», «Мои университеты» [6], и в других произведениях Горького.... Рыхлое, неупорядоченное социальное тело небольшого уезд-

ного города в период острых потрясений – именно это заметил и описал художник слова – конвульсивно дергается, попеременно ища то свободы, то православия, то просто крайнего на роль очередной жертвы. Последующий, более чем столетний период нашей истории подтвердил и наблюдательность, и прогностические способности автора «Городка Окурова».

А.М. Горький был не единственным писателем, обратившим внимание на проявление коллективного хаоса в жизни периферийных уездных городов. Применительно к городам Зауралья смутные события стилистически близко отобразили писатели Борис Александрович Тимофеев (1882-1920 гг.) и Дмитрий Четвериков (его подлинное имя и фамилия – Четвериков Борис Дмитриевич, 1896-1981 гг.). Оба были выходцами из семей прогрессивных земских служащих (первый – врача, второй – учителя). Отец Б.А. Тимофеева не ладил с начальством и часто менял место службы [7, 6]. В сходных условиях прошло детство и Д. Четверикова. Дмитрий Никифорович Четвериков, отец будущего писателя, – учитель истории и российской словесности – числился в царской России политически неблагонадежным. Поэтому он и его многочисленная семья вынужденно перебирались с места на место [8, 245]. Оба писателя оставили художественные произведения, в которых достаточно полно представлены автобиографические моменты.

В повести Б.А. Тимофеева «Сухие сучки» (1913 г.) описан городок Асеев. Как установили литературоведы, прототипами Асеева и его обитателей послужили Шадринск и его отдельные жители. Так, один из современных районов этого города – бывшая деревня Осеева [9, 90]. Первоначально в городе господствовали патриархальные обычаи. «Попался Асеев словно в заколдованный круг. Спереди узкой лентой тянулась река, а на откосе сторожила выходы белокаменная тюрьма. Позади широко раскинулись кладбища православное, еврейское, мусульманское. При жизни асеевцы теснились в куче, некогда было разбираться по народам; когда же умирали – каждый тя-

нулся к отцовским могилам» [10, 222]. Однако начало XX в. и революция внесли смуту в городской социум. Политически и культурно он оказался расколот.

В 20-е гг. XX в. Д. Четвериков в ряде произведений воспроизвел сохранившиеся в его памяти воспоминания детства. Применительно к провинциальной жизни до 1917 г. к ним можно отнести повести «Ирбит» [11, 73-116] и «Малиновые дни» [12, 17-90]. Данные литературные произведения впервые были опубликованы в 1926-1927 гг. [13, 39]. События и герои повестей перекликаются между собой и во многом они связаны с реалиями ярмарочного Ирбита. Здесь и авторские гимназические впечатления, и знаменитая ярмарка, и передача восприятия революционных событий в либеральной земской среде, и фиксация митингового хаоса, непривычного ранее для уездного провинциального городка.

Отображением психологии провинциалов занимался и Г.Д. Гребенщиков. Этого профессионального журналиста и писателя отличало великолепное знание сибирской периферии с ее традициями и новациями. Один из героев его многотомной эпопеи «Чураевы», алтайский старообрядец Викула. Первоначально он думает о столице, «как о разноцветном и большом монастыре, затерянном в синей сумрачной пустыне, по которой ходят странники и богомольцы и все ходят они либо к Москве со всех концов, либо от Москвы во все концы земли, неведомой и синей». Действительность во многом изменила представления наивного сибиряка. Даже в Петровский пост столица отличалась обилием продаваемого мяса. «Оно ярко-красными пятнами глядело из окон почти каждой бакалейной лавки и напоминало Викулу о городской греховности». Как считает Василий, брат Викулы, Москва – «большой базар-толкучка. Тут все найдешь, все купишь, все продашь: старое и новое, дорогое и дешевое, святое и греховное... Испокон веку Москва – живое, никогда не затихающее торжище». Еще один персонаж романа – Наденька – более сдержана: «Москве все к лицу: и

Серебряный бор, и Никола на Грязях, и Скорбященская Божья мать, и Разгуляй» [14, 84, 96, 105.].

Смешение святости и греха было характерно также и для провинции. В третьем романе эпопеи Василий сталкивается с изнасилованием школьниками сельской учительницы. Вызвавшись быть защитником, он вскрывает причины произошедшего преступления. По его мнению, основная из них – исчезновение стыда: «в кругу городских людей, в кругах образованных людей особенно, понятие стыда все чаще стало заменяться новыми словами. Эти слова: совесть, мораль, порядочность, сознание, собственность, достоинства, правосознание и тому подобное. Словом, по мере того, как образованное общество становится все образованнее, понятия о стыде все более мельчают, все более видоизменяются, часто смешиваются с предубеждениями и делаются все менее доступным простым людям».

В школе принудительно преподаются и литература, и Закон Божий, но, задается вопросом Василий, «дала ли что-нибудь, кроме пойманных и еще не пойманных преступников, эта красиво выстроенная школа?» А если бы не было школы? «А было бы только то, что почти не было бы грамотных, но зато Закон Божий, внушенный старческой простой молитвой, какой-либо суеверной, но богобоязненной старухи, был бы здесь заложен крепче и, поверьте, он управлял бы массой народной лучше, нежели все вооруженные силы или писанные книжные законы». На примерах из школьной жизни Василий показывает аморализм учащихся: один ребенок подделывает деньги, другой – подписи, третий «похабными словами искажал великого поэта Пушкина» [15, 51-84].

По наблюдениям современников, быстрая деградация прежних смыслов, ведущая к имитации, аморализму и расщепленности сознания, была достаточно распространена среди учащейся молодежи в начале XX в. [16; 17]. Дело, впрочем, не ограничивалось только сферой преподавания. Так, например, сосуществование цензурного гнета и провозглашенной

в 1905 г. свободы печати породили в журналистике институт подставных редакторов для отсидки по суду, еще их называли зиц-редакторами [18, 20]. Формально не противоречащее закону использование псевдонимов и услуг зиц-редакторов, могло провоцировать провинциальных интеллектуалов на отказ от привычного поведения. Оно заменялось иными стереотипами, несущими прямо противоположные смысловые нагрузки.

Данная трансформация была связана со спецификой сознания провинциала, еще не освободившегося от множества патриархальных черт. Замена имени и участие в газетных словесных «проповедях», могли привести к вытеснению местных социальных реалий из его внутреннего мира. Возвышаясь в собственных глазах, он, одновременно, погружался в символический мир словесного творчества, мало совместимого с нормальной жизнью, наивного и гипертрофированного. Отражением подобной социальной мутации являются произведения, позабытого ныне поэта Федора Федоровича Филимонова (1862-1920 гг.). Проанализируем отдельные его стихотворения из сборника «Песни сибиряка» за 1890 г. [19]. Творчество Филимонова безрадостно. Поэт не устает оплакивать несбывшиеся мечты:

*Где та золотая пора идеалов
Когда начинали мы жить!
Когда мы клялися при звоне бокалов
Родимому краю служить? ...
(Из стихотворения «Мимо»)*

Сегодняшний день для лирического героя наполнен страданиями и бессмысленным трудом. Этот труд лишает человека-узника, отведенной ему малой доли свободы и поэтому он особенно тяжел. Стихотворение «В Сибири» наводит на мысль, что одноименная территория предстает исключительно как тюрьма или этапное пространство:

*Стук молота от века и до века
Тяжелый звук заржавленных оков*

*Друг, ты видал ли гнома-человека
На дне холодных рудников?*

Чувство безысходности неоднократно проявляется в образах подземных тружеников. Выход к свету им заказан:

*Шли мы, к свету стремясь, ...гибли, падали мы.
Находя в этом мраке свой гроб.
Как в глухом руднике средь удушья и тьмы
Погибает боец-рудокон.
(«Рудокон (с французского)»)*

Тема неволи красной нитью проходит через многие произведения поэта:

*Я еду – все степи, да степи.
Конца не дождешься ты им.
Зачем же опять эти цепи
Со звоном печальным своим.
(«Из путевых заметок»)*

Параллельно теме неволи развиваются несбыточные мечты об освобождении. Таково содержание стихотворения «В стране изгнания»:

*Вдруг слезы мои затуманили очи,
Гром грянул и вся взволновалась степь...
Не верь... это звук кандалов среди ночи.
Звон цепи о цепь.*

Современность воспринимается им как господство несовершенного прошлого. Борцы за светлое будущее заключены в настоящем времени как в тюрьме. Для них нет и не может быть выхода: «Все ночь и ночь; рассвета дня / Увидеть мне не суждено» («Песни прошедшего»). Неудивительно, что изрядную долю сборника составляют произведения, посвященные памяти безвременно ушедших из жизни. В частности, их героями стали широко известные современникам сошедший с ума В.М. Гаршин, самоубийца Д.А. Литышева, И.В. Омуревский. Победы достигнут лишь молодые борцы. Название единствен-

ного оптимистичного стихотворения сборника говорит само за себя «В путь-дорогу (посвящается сельским учительницам)»:

*Не трусь, борись ты до конца:
Тем тяжелей победа достается
Тем больше славы для борца!*

Творческий дар Ф. Филимонова в целом лишен оригинальности, это поэт, далеко не первой величины. Он и его лирический герой – сторонники насильственной смены общественного строя. В окружающем их мире бесконечно длится непрерывное сражение, но соратники уже пали в бою. В борьбе света и тьмы, пока еще побеждает тьма. Участь героя – быть одиноким борцом. Он не вполне свободен, ведь место его жительства – Сибирь. Это страна изгнания, труд в ней подневолен. Однако надежда не исчезла. Поэт по-прежнему верит в светлое будущее. Сегодняшняя же жизнь воспеваемого им лирического героя – страдание. Жизненные обстоятельства препятствуют достижению мечты, ей не суждено сбыться. Герой испытывает жажду рыданий и неразделенную любовь.

Современный исследователь М.Б. Могильнер выявила основные признаки и эволюцию типичного «общественного» героя-революционера и причины последующего кризиса популярного образа. Этот литературный герой «молод, т.е. он не успел пожить, он отдал в жертву свою молодую жизнь, что делает его жертву несравненно ценнее, чем жизнь, скажем, убитого им старика-министра или губернатора средних лет, успевшего пожить, <...> герой страдает, его образ свят («страдальческий венец»), т.е. неподсуден простым смертным, а значит и преступному государственному суду». Так что же, Филимонов – революционер? Здесь нельзя дать однозначного ответа. В профессиональном плане, разумеется, – нет. Однако в социокультурной сфере он, как и многие, тяготеет к революционной идеологии. «Порой трудно определить, где кончалась подпольная Россия и начиналась легальная», – замечает М. Могильнер [20, 5, 10].

Кто такой Ф. Филимонов? В первую очередь он – культурный маргинал. Будущий поэт родился в Камышлове, в семье купца. Учился в Казани. За участие в студенческих беспорядках его высылают в Ирбит на четыре года. В глазах современников Ф. Филимонов предстал достаточно колоритной фигурой. Он обладал могучим телосложением и крутым неуживчивым нравом. Пользовался популярностью, издал несколько поэтических сборников. В конце века переселился в Сибирь. В 1920 г. его расстреляли большевики за сотрудничество с колчаковскими властями [21]. В судьбе Филимонова поражает неустроенность поэта, какая-то бесприютность его существования.

В целом, чувства, испытываемые Ф. Филимоновым, были достаточно типичны для провинциального интеллигента. Это ригоризм, тяготение к крайностям, нетерпимость к власти, оппонентам и противникам. Он «заиклен» на социальной проблематике. Всякое несоответствие идеалу вызывает у поэта реакцию отторжения. Поэтому окружающая действительность воспринимается им по преимуществу негативно. Сознание поэта болезненно биполярно, он неявный приверженец того типа мышления, которое А.С. Ахиезер емко определяет, как манихейство. «Манихейство – замечает исследователь – основано на абсолютизации жесткого противопоставления добра и зла, которые рассматриваются как две субстанции мира. Манихейство, следовательно, не только конкретно-историческая форма культуры, но методологическая и гносеологическая категория, метод якобы простого, ясного решения сложных проблем. Манихейство – наиболее простой и прямолинейный ответ на усложнение социокультурных проблем» [22, 73].

Ф. Филимонов был не одинок, даже типичен в своих предпочтениях. Сходные черты прослеживаются в произведениях самой известной уральской поэтессы того времени Елизаветы Савишны Гадмер-Головой. Это «Письмо из тюрьмы», «Письмо в тюрьму», «Дети», «Дедушке (памяти Генриха Гадмер)» и

иные стихотворения. Примечательны происхождение и судьба этой талантливой женщины. Ее отец был из знаменитой старообрядческой семьи Ушковых. Мать Элиза – внучка немецкого оружейника из Златоуста и дочь домашнего учителя швейцарца Генриха Гадмер, покончившего самоубийством. Оставшись без отца, Элиза была вынуждена переселиться к двоюродной тетке в Шадринск, а затем без душевной привязанности вышла замуж. Безденежная кочевая жизнь родителей еще в детстве подорвала здоровье их дочери Елизаветы. На ее творчестве сказались материальные затруднения, неудачное замужество, смерть дочери и отсутствие интереса со стороны издателей [23].

Маргинальные нотки также явственно присутствуют в творчестве шадринцев Елизаветы и Сергея Виноградовых. «До зачисления ее на должность помощницы библиотекарши в Шадринской Земской публичной библиотеке, в коей состояла последние три года, Виноградова никаких определенных занятий не имела, очень нуждалась и жила исключительно помощью богатых людей из местного купечества» – указывалось в жандармском донесении от 22 января 1914 г. Здесь же сообщалось о том, что пожилая, вечно нуждавшаяся, не бывавшая замужем Елизавета Васильевна, под влиянием эсера Н.В. Здобнова, внезапно обратилась в своих стихах к революционной тематике [24, 15, 24]. Её младший брат Сергей уехал из Шадринска и сотрудничал в либеральной «Екатеринбургской неделе» [25, 122-129]. Тогда мало кто знал, что «женские» поэзия и проза Нины Ивановой, имевшие бешеный успех у современников, были плодом творчества «законспирированного» С. Виноградова [26, 60-70].

Житейские трудности, видимо, были отличительными чертами тогдашней художественной провинциальной интеллигенции. Острота социальных противоречий нередко провоцировала вдумчивого человека к политической деятельности или к литературному творчеству, что дополнительно осложняло и без того нелегкое существование. «Жил в Кургане, маленьком

сибирском городке, Кондратий Худяков, поэт, живописец вывесок и мой приятель, – писал в своих воспоминаниях о начале XX в. советский писатель Вс. Иванов. – Происходил он сам из староверов, упрямый. Одноглазый и – красивый. Он самоучкой дошел не только до искусства писать стихи, но и до рисования вывесок. Обитал он в двух крошечных комнатушках. В одной комнатушке был маленький письменный стол с секретным отделением, им самим изобретенным (он все собирался уйти в политику, и в секретном отделении прятал бы он тогда прокламации и воззвания). Но на этом письменном столе работать ему не удавалось: за дощатой перегородкой постоянно вопили дети, жена стряпала обед, – он уходил писать стихи на сеновал. Бывало, придешь к нему, а сынишка говорит: «Батя на сеновал мыслить отправился» [27, 195].

К. Худяков был не единственным литератором в Кургане. Кроме него в газетах публиковались Лариса Коровина, Павел Кузьминых, Аркадий Филиппов, Павел Булатов, Ф. Рябов [28, 42-43]. Сам Вс. Иванов, будущий литературный классик, а тогда подросток, работавший в типографии, уже успел вкусить яд тщеславия от своей первой публикации и даже получил письмо от А.М. Горького. По этому случаю, работники типографии «решили выпить и чтоб – вдрызг!..». Пьянку начали с продажи сапожных голенищ новоявленного автора... Ценность воспоминаний о Кургане Вс. Иванова заключается в выявлении неоднозначности провинциальных процессов. С одной стороны – типография, в которой «зверски» пили, а с другой – достаточно насыщенная культурная жизнь.

«Я находился тогда под впечатлением тех авторов, что утверждали – уездная жизнь необыкновенно звероподобна, тупа и что нет на свете большего падения, чем быть мещанином. – замечал писатель <...> – Мещанство, именно Худяков обратил мое внимание на это, – в лице своих молодых представителей много читало и много думало». Круг общения Вс. Иванова составляла провинциальная молодежь, увлека-

ющаяся литературой. Собравшись после работы, они читали современные художественные произведения, не чурались литературных опытов [27, 196, 274-277]. Сам Вс. Иванов и его друг по типографии А. А. Жулистов участвовали в постановке любительских спектаклей [28].

В Кургане достаточно быстро сказались положительные и отрицательные последствия от проведения через город железной дороги. Наступление индустриальной эры разрушало патриархальную мораль, её ценности подлежали осмеянию или снисходительной жалости. И это обстоятельство также было отображено начинающим писателем в рассказах «Защитник и подсудимый» и «Вертельщик Семен» (1916 г.) [29, 103-105, 109-112]. С одной стороны, это почти этнографические зарисовки типичных персонажей, появляющихся на улицах провинциального городка, а с другой – исторический источник, рассказывающий о парадоксах общественного сознания последних лет существования Российской империи.

Кто из нас не читал книгу Я. Гашека о бравом солдате Швейке! Это великое произведение не было закончено – помешала смерть автора. В заключительных главах романа Швейк попадает в русский плен, и мы можем только догадываться о дальнейшей судьбе этого литературного персонажа. Чешский журналист Карел Ванек, друг Я. Гашека, попытался закончить роман, написав книгу «Приключения бравого солдата Швейка в русском плену» [30]. Его «Швейк», конечно же, уступает герою Гашека в выразительности. Но у продолжения романа есть иные достоинства. Эта автобиографичная книга обладает ценностью исторического источника.

Прежде чем заняться выяснением особенностей жизни австрийских подданных и их взаимоотношений с местными жителями, необходимо кратко описать «русский анабазис» Швейка и его друзей. Взятые в плен на фронте, они перемещаются в Киев (Дарницкий лагерь). Затем следуют Пенза, Воронеж, работа на крестьянских полях, проезд через Курган, лагерь в Ом-

ске. В 1916 г. пленных из Сибири перебрасывают в прифронтовую зону для строительства дорог под Витебском. Военные неудачи вынудили русское командование отправить рабочую роту под Гомель, где военнопленных застала революция. Роман заканчивается счастливо: его герои встречаются в Праге в 1920 г. В произведении также даются краткие характеристики русским офицерам, которые руководили пленными и нередко их обкрадывали.

Какие типические моменты в культурных и межэтнических контактах удалось зафиксировать К. Ванеку? Встреча представителей разных культур начинается с преодоления языкового барьера и бытовых частностей. Пикантность произошедшего здесь выражена тем, что русский язык Швейк начинает изучать, к потехе конвоиров, с нецензурных выражений, а с бытовыми деталями знакомится через курение «козьей ножки». Швейк, как и ранее до плена, «расколдовывает» незнакомый ему мир, преодолевая его обветшалую сакральность и потенциальные угрозы через приземленные поступки и пошлые сентенции. Точно также поступают и его друзья. Так, когда вольноопределяющийся Марек, вступает в интимную связь с крестьянской девушкой Дуней, то последняя, перед соитием, поворачивает иконы лицом к стене, чтобы они смотрели на улицу [30, 121-122].

Эта этнографическая подробность русского быта, хорошо известная специалистам, свидетельствует как о достоверности произошедшего, так и о наличии неких психических механизмов, коими руководствуются люди в условиях военного времени. Их поступки ситуативные, не более того. Они живут сегодняшним днем, мало задумываясь о грядущем. Объяснение данного феномена в последующем дал Бруно Беттельхейм в книге «Просвещенное сердце» [31]. Психолог исследовал воздействие репрессий на отдельного человека в фашистских концлагерях. По его мнению, для заключенных были характерны: наличие психических травм, инфантилизм, подавление ин-

дивидуальности и отсутствие прогностических способностей. Схожие ситуации, но с меньшей степенью жестокости, возникали в жизни пленных в Первую мировую войну.

Каким образом герои романа преодолевали или хотя бы минимизировали психические травмы от пребывания в плену и их последствия? Все они мечтали вернуться в обыденное мирное существование. При этом способы возвращения, в силу их неисполнимости, существенной роли не играли. Разговоры о прошлом, будущем, еде, женщинах, забавных случаях из прежней жизни занимали большую часть их свободного времени. И, как всегда, Швейк, с его неуёмной болтовней, был здесь вне конкуренции. Он, простак из народных низов, фактически выполнял для пользы окружающих компенсаторные функции. Нечто подобное, но на научном уровне осуществил в годы Второй мировой войны известный психолог Виктор Франкл. Его группа в концлагере нелегально оказывала терапевтическую помощь людям с суицидальными наклонностями. Применяемые врачами аутогенные тренировки заключались в мысленном удалении пациентов из места заключения [32].

В романе отсутствует патетика. В землянках, на нарах, среди оборванных военнопленных, устраивающих драку из-за куска хлеба, она фальшива и неуместна. Здесь нет описания военных подвигов или полученных наград. Пленные, каждый из которых стремится избавиться от тяжелой работы или получить прибавку к пайку согласны на все: украсть, обмануть, перейти в добровольцы. Их поступки не осуждаются и не приветствуются. Они – данность. Точно такая же, как и аморальное поведение русских тыловых офицеров. Господство биологических начал проявляется в сосуществовании и непрерывной борьбе со вшами. Вообще тема завшивленности проходит красной нитью через роман: «Между пленными человек с образованием и хорошо ранее живший узнавался по тому, что он был самым грязным и самым вшивым. Это обстоятельство послужило материалом для общей поговорки: «Чем человек

интеллигентнее, тем крупнее на нем водится вошь». В некоторых лагерях определяли вшей по величине: были там деревенские, учительские, профессорские, офицерские, генеральские. Тот, кто ловил двух «генеральских», заявлял, что начнет себе сооружать телегу» [30, 348].

Наличие педикулеза у пленных не отменяло, у них же, культурных проявлений. Но в плену эти проявления были сведены к минимуму или извращены. Например, Пискун делал бесцельные опыты по разведению вшей, от которых и так не могли избавиться в лагере. Пленные иногда пели песни, бывало, что даже читали газеты. Но все это оставалось только блёклым фоном в борьбе за приобретение материальных благ. Их можно было получить силой, хитростью, обманом, за счет личной близости к начальству или обладания какими-то особыми профессиональными навыками. Солдаты изготавливали статуэтки, табакерки, коробочки для папирос, веера и кольца для продажи, по возможности подрабатывали иным образом. Каждый стремился конвертировать приобретенное во что-то полезное для себя лично.

Архаизация быта (вагоны, бараки, землянки, минимум удобств, вынужденные постоянные перемещения) вела, с одной стороны, к стремлению людей сохранить немногие принадлежащие им вещи. С другой – к чрезвычайно легкому расставанию с приобретенными ценностями. У пленных процветали обмен, нелегальная торговля, желание быстрее продать на базаре и пропить любую вещь, оказавшуюся в их руках. Военная расточительность вела не только к преступному разбазариванию материальных ресурсов и человеческих жизней. Её непременным спутником было казнокрадство. Описания тылового воровства можно было бы списать на предвзятость автора романа – жизнь в плену не сахар. Но и иные источники, например, мемуары В.В. Вересаева, свидетельствуют о распространённости краж как непременной детали военного быта [33]. К. Ванек в одной из глав романа, красноречиво озаглавленной

«Красть и не бояться», прозорливо замечал: «Всё, что солдаты брали в руки, все предназначалось к уничтожению, при котором люди вдобавок еще мучились и страдали. Отсюда появилось стремление уничтожать это богатство, извлекая при этом максимум личного удовольствия» [30, 261].

Существование на войне и особенно в плену означало жизнь с перевернутыми смыслами. Изнанка культуры была здесь почти демонстративно вывернута наружу. Так, торжества в Омске по случаю перехода значительной части военнопленных в православие, на которых господствовали официоз и сентиментальные слезы гражданского населения, были вызваны корыстным желанием части австрийцев облегчить свое положение в лагере. Вряд ли новообращенных могли увлечь проповеди малограмотного священника. Ведь преподаватель закона Божьего в женской гимназии города отец Иоахим грезил о всеславянском единстве, совершенно не зная истории. Плачущий там Швейк, сразу же после ухода с церемонии, оказался свидетелем супружеской измены жены начальника лагеря с одним из военнопленных. И льготы для неофитов также закончились довольно быстро, когда одного из них застали с дочкой полковника [30, 236-237, 248].

В романе нет проявления ненависти к русскому населению, ригидного оправдания или осуждения случаев жестокости по отношению к пленным и в среде самих пленных. Люди показаны такими, какие они есть. Их несовершенство коренится вне государственной, конфессиональной или этнической принадлежности. Солдатские байки, нанизанные на сквозной сюжет романа, создают ощущение достоверности. Разумеется, что образы конкретных персонажей, заимствованные автором романа у Я. Гашека, выдуманы. Но К. Ванеку, побывавшему в плену, удалось литературными средствами блестяще воспроизвести атмосферу тягостного существования, голода и цинизма, в которую, вне своего желая, оказались заброшены десятки тысяч людей.

Историки, стремящиеся к статистической точности, способны обчислить смертность, заболеваемость, общее количество военнопленных в российских губерниях, маршруты их перемещений. Однако в обширном цифровом материале, желаем мы того или нет, исчезают те маленькие частности, из которых и состоит жизнь обычного человека. Ванек удачно воздержался от глобальных обобщений, ограничившись описанием многочисленных казусов и повседневности лагерного быта в среде пленных. Та художественная реконструкция социальных реалий, которую он осуществил, в последующем была обоснована трудами классиков психологии. Эти труды имели большое теоретическое и прикладное значение. Задача же чешского писателя оказалась много скромнее – зафиксировать обстоятельства жизни солдат в плену для их потомков.

Проанализированные художественные тексты писателей начала XX в. близки между собой по стилистике, социальной, нравственным основаниям. Все они информационно насыщены и плохо подстраиваются под однозначные толкования. Их детальное рассмотрение в качестве исторических источников требует глубоких теоретических обобщений и изощренных интеллектуальных усилий. Так, например, персонажи, описанные в данных произведениях, далеко не всегда руководствуются общепринятыми христианскими нормами. Однако их жестокие поступки почему-то, в большинстве случаев, не создают у читателя ощущения совершенного греха. Многие из персонажей явно «не ведают, что творят».

Какие выводы следуют из выше изложенного? Достаточно тривиальные. Абстрагируясь от конкретики данных произведений, допустимо предположить, что в них зафиксирована слабость христианских норм в толще отечественной провинциальной культуры. Чем же тогда замещалось христианство в российской глубинке? Ответ однозначен – латентным язычеством. Ныне уже не требуется особых доказательств того, что скрытое язычество в нашей стране никогда до конца не умира-

ло и по-прежнему имеет тенденцию к постоянной регенерации [34]. Возможно, что провинциальные писатели на рубеже веков смогли запечатлеть очередные ростки того вечного негатива, который захлестнул нашу страну в последующие времена.

Расщепленность сознания, присущая возрождающемуся языческому мировоззрению начала XX в., преломилась в хаос внешне немотивированных поступков субъектов исторического процесса. Писатели это почувствовали. Их тексты с одной стороны оказались излишне цветистыми, а с другой они стали рублеными, «рваными», утратили последовательность изложения и привязку к деталям. Эти потери информационно компенсировались большей психологической нагрузкой в общем массиве текста. Все эти характеристики присущи так называемой орнаментальной прозе. Именно её произведения отличаются растворением текста в отдельных мотивных кусках, ослаблением событийности, смещением сюжета на второй план, ритмикой, склонностью к ассоциациям, повторам образов, мифопоэтической картиной мира.

Литературоведы до сих пор спорят, произведения каких именно писателей целесообразно относить к данному стилю [35, 3]. В числе прочих называют имена М. Горького и Вс. Иванова. Но, применительно к источниковедческому анализу, важнее осознание другого вопроса: для отображения каких именно объективных реалий орнаментальная проза будет максимально результативной? Подо что она функционально «заточена»? По мнению немецкого слависта Вольфа Шмида, «симптомы поэтической обработки текстов можно найти во все периоды истории литературы, но это явление заметно усиливается в те эпохи, когда преобладают поэтическое начало и лежащее в его основе мифическое мышление. Благодаря своей поэтичности орнаментальная проза предстает как структурный образ мифа [36, 263]. И действительно, в орнаментальной прозе присутствуют дискретность текста, обезличенность литературных

персонажей, описание действий массы, толпы, как биологического начала.

Полагаем что для литературных текстов того времени, в том числе созданных в стиле орнаментальной прозы, не случайно пренебрежение к единичным фактам и акцентирование внимание на сдвигах в сознании. На авансцену истории, и в столицах, и в провинции, начали выходить не отдельные герои, но сплоченные общим недовольством большие массы людей. На какое-то время беснующаяся уличная толпа обретала способность быть единым социальным организмом. Он, этот организм, руководствовался в своих действиях не рациональными обоснованиями, а чем-то иным, подспудным, архаическим. Закономерная тяга к углубленному психологизму стала одной из отличительных особенностей литературы, хронологически близкой к 1917 г. В своём творчестве писатели отобразили предгрозовое состояние российского общества.

Ключевым моментом для литераторов – и здесь они близки к историкам – оказалось исследование «массового» человека с пробужденным, но неразвитым индивидуальным сознанием, живущего и действующего в толпе. В произведениях орнаментальной прозы, если рассматривать их как исторический источник, еще до начавшихся революционных потрясений зафиксированы потеря стабильности, разрушение традиционных основ в общественном сознании. Всё это вело к эрозии элитного слоя культуры, нарастанию негативных ожиданий, иррациональной тревожности, к внезапным вспышкам агрессии.

Историк В.А. Козлов в своих исследованиях доказал, что поступки такого «массового» человека допустимо осуждать, но нельзя игнорировать. Он же хорошо обосновал актуальность изучения действий толпы, как для XX в., так и для дня сегодняшнего. «И все-таки в косноязычном бормотании человека с улицы, в угрозах и выкриках, звучащих на площадях, в корявых событиях давнего и недавнего прошлого, гораздо

смысла, чем это, обычно, кажется. Правители, которые слишком поздно начинали слушать и слышать голос толпы, те, кто с презрением отворачивался от жаждущего справедливости «простонародья» рано или поздно уходили из истории «ошканными и срамимыми» (выражение Н.Г. Чернышевского) – резюмирует исследователь [37, 20].

Много ранее к подобным же выводам пришли отечественные литераторы. К сожалению их прогностические способности оказались практически не востребованы управленческой элитой того времени.

Литература

1. Козляков В.Н., Савостьянова А.А. Культурная среда провинциального города // Очерки русской культуры XIX века. Т.1. Общественно-культурная среда. М., 1998. С.125-202.
2. Ершов М.Ф. Социокультурная эволюция образов очеловеченного пространства. Саарбрюкен, 2014. 284 с.
3. Горький М. Собр. соч. в 18 т. Т. 6. М., 1961. 538 с.
4. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы. М., 2004. 391 с.
5. Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. СПб., 1999. 304 с.
6. Горький М. Собр. соч. в 18 т. Т. 9. М., 1962. 535 с.
7. Житкова Л.Н. Б.А. Тимофеев. Очерк жизни и творчества. Свердловск, 1987. 120 с.
8. Герштейн Я.Л. Ирбитчане в истории России // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000. С. 238-245.
9. Янко М.Д. Литературное Зауралье. Курган, 1960. 185 с.
10. Тимофеев Б. Сухие сучки // Стихи и проза. Альманах. 1940. №6. Челябинск. С. 205-250.
11. Четвериков Д. Бурьян. Л., 1926. 189 с.
12. Четвериков Д. Избранное. М., 1971. 585 с.

13. Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 года. М., 2011. 1023 с.
14. Гребенщиков Г.Д. Братья Чураевы. Нью-Йорк, 1925. 229 с.
15. Гребенщиков Г.Д. Веление земли. Нью-Йорк, 1925. 179 с.
16. Ватник Н.С. «Огарки»: мифы и реалии гимназической среды 1907-1908 гг. // Российская история. 2010. №6. С. 97-105.
17. Буле О. Скандал в Перми (из тайной истории русской гимназии) // Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты. М., 2004. С. 311-328.
18. Симонова Н.Б. «Газетные люди» в России в конце XIX – начале XX века // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер: История, филология. 2013. Т.12. Вып.10. С. 17-22.
19. Филимонов Ф. Песни сибиряка. Стихотворения Ф. Филимонова. 1880-1890. М., 1890. 72 с.
20. Могильнер М. На путях к открытому обществу: кризис радикального сознания в России (1907-1914 гг.). М., 1997. 56 с.
21. Алымов Х. Гейне из Ирбита // На смену! (Екатеринбург). 1995. От 19 янв. С. 3.
22. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. I. От прошлого к будущему. 2-е изд. Новосибирск, 1997. 804 с.
23. Елизавета Гадмер: материалы к биографии. Сб. док. к 60-летию Объединенного музея писателей Урала. Екатеринбург, 2006. 112 с.
24. Государственный архив Свердловской области (ГАСО) Ф. 520. Оп.1. Д. 41.
25. Голдин В.Н. Забытые поэзия и литераторы Урала. Екатеринбург, 2007. 216 с.
26. Голдин В.Н. Елизавета Гадмер плюс сто одна поэтесса Урала конца XIX – начала XX веков. Екатеринбург, 2005. 275 с.

27. Иванов Вс. Собр. Соч. в 8 т. Т. 8. М., 1978. 783 с.
28. Карсонов Б. Всеволод Иванов // Советское Зауралье (Курган). 1975. № 115 от 18 мая.
29. Неизвестный Всеволод Иванов. Материалы биографии и творчества. Научное издание. М., 2010. 784 с.
30. Ванек К. Приключения бравого солдата Швейка в русском плену. СПб., 1993. 384 с.
31. Беттельхейм Б. Просвещенное сердце. // Человек. 1992. № 2-6.
32. Франкл В. Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере. М., 2009. 239 с.
33. Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне. М., 1986. 538 с.
34. Ершов М.Ф. Генезис русского язычества как культурная реальность столетней давности // Методологические проблемы исторического познания: межвуз. сб. научн. тр. Омск, 2010. С. 13-18.
35. Атрощенко А.С. Орнаментальный стиль как теоретико-методологическое понятие. Автореф. дисс. к. ф. н. ... Самара, 2013. 19 с.
36. Шмид В. Нарратология. М., 2003. 312 с.
37. Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953-1985 гг. М., 2006. 448 с.

ГЛАВА 2 ТЕКСТЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

2.1. Провинциальные истории социалистического реализма

Это были «дела давно минувших дней»: якобы в 1623 г. из заполярной Мангазеи была направлена царю Михаилу Федоровичу некая челобитная, в которой сообщалось, что половина города сгорела, а из уцелевшей части тараканы в поле ползут. Согласно примете, бегство тараканов означало неизбежность повторного опустошительного пожара. Глава государства подводился к мысли о целесообразности выноса имущества и превентивного поджога города, не дожидаясь внезапных действий стихии. О данном сюжете, в частности, писал исследователь географических открытий М.И. Белов, в популярной книге «Мангазея» [1]. Упоминание о мангазейском казусе присутствует и в творчестве сибирского литератора Л. Н. Мартынова [2, 200].

Но наиболее обстоятельно анекдотическое событие смог обыграть Евгений Фёдоров (1897-1961 гг.). У начинающего писателя в 1936 г. выходит в свет сатирическая повесть «Шадринский гусь». Произведение получило широкую известность – так, например, в 1951-1953 гг. оно трижды издавалось в Кургане отдельной книгой [3]. Курганский литературовед М.Д. Янко достаточно высоко оценил творчество Е.А. Фёдорова. «Шадринский гусь», – писал он в 1960 г., – яркая сатира на

«екатерининский» век, на чиновников-хапуг, «пивших кровь народа тысячами ртов жадных и нечистых» (А.И. Герцен)». И далее: «Автору удался образ писца Епишки – пьянчуги, ловкого обиралы, типичного представителя «крапивного семени» [4, 128]. В этой сатирической повести писец Епишка – главное действующее лицо, а основные события либо происходят в Шадринске, либо сюжетно связаны с этим городом.

Отправной точкой повести является документ второй половины XVIII в., якобы найденный Е. Фёдоровым в ленинградских архивах. Местный воевода сообщал в столицу о пожаре, уничтожившем половину Шадринска, и просил разрешения сжечь вторую половину, поскольку из неё «неудержимо ползут тараканы в поле». Интересно, что данный трафаретный сюжет был известен шадринцам в качестве анекдота уже во второй половине XIX в. Так, в бумагах краеведа А.Н. Зырянова сохранилась выписка из прошения в Сенат, где указывалось, что пожар начался от загоревшей поварни В. Лариновой (у Е.А. Фёдорова – калачницы Параськи Пупкиной). И здесь, «боясь гнева Божия» на оставшуюся половину Шадринска (из-за бегства тараканов), проситель предлагал сжечь и её [5, 37]. Заметим, что по народным поверьям тараканы приносили удачу, а их уход из жилых помещений считался дурной приметой – «к пожару». В 1828 г. Екатеринбург посетил известный немецкий учёный Александр Гумбольдт. Путешественник был немало удивлён количеством тараканов в купеческих особняках. «Знатные иностранцы, конечно, и не подозревали, что этих «больших чернобурых тварей, столь бесцеремонно разгуливающих по комнатам», екатеринбургские купцы разводили нарочно, «для богатства» – так комментировал эту ситуацию Д.Н. Мамин-Сибиряк [6, 26].

Если происшествие с тараканами и могло быть отчасти достоверным, то большинство остальных событий повести не просто надумано, но и противоречит историческим реалиям того времени. Её действие разворачивается накануне и в пери-

од восстания Е.И. Пугачёва. Известно, что с 1738 г. три слободские дистрикта – Шадринский, Исетский и Окуневский – были приписаны к Оренбургу, а в 1744 г. Шадринск в составе Исетской провинции был «присоединён к ведомству Оренбургской губернии» [7, 675]. Однако в повести Шадринск, как и в начале XVIII в., подчиняется сибирскому губернатору Д.И. Чичерину.

Высшим должностным лицом здесь числился управитель с находящейся при нём Шадринской управительской канцелярией. Известно, что в начале 1760-х гг. управителем был Выходцев, в 1774 г. – Филипп Портнягинов. Между тем, в повести взамен управителя появляется воевода секунд-майор Андрей Голиков. Да, с 1719 по 1775 гг. существовала должность провинциального воеводы, но административным центром Исетской провинции Шадринск был очень непродолжительное время – в 1737-1740 гг., задолго до описываемых в повести событий. Сам же воевода описан в стиле, который больше подходит к XVII в. Ведь он – «Андрюшка Голиков» – такая уничижительность была характерна для челобитных допетровского времени, ходит по «приказной избе», пьёт квас. А жена его – «толстая воеводиха» – больше похожа на купчиху. Нет и намёков на то, что для дворянского сословия на дворе стоял галантный XVIII в., точнее говоря, его вторая половина – век Просвещения.

В прошёное воскресенье на пиру с гостями воевода сидит «в переднем углу, краснорожий и брюхатый, в кургузом мундире, при шпаге». Отвлекаясь от «краснорожести» и «брюхатости», заметим, что воевода просто не мог сидеть в «кургузом» мундире. Вплоть до конца XVIII в. «мундир» был понятием собирательным, он включал в себя кафтан, камзол, епанчу, шляпу, башмаки и так далее. Основным элементом мундира был, конечно же, кафтан. Длина его доходила до колен, и он считался верхней одеждой, носимой на улице (шинелей тогда ещё не было). Офицерский мундир отличался от солдатского количеством декоративных деталей: галунов, позументов и, шился из сукна лучшего

качества [8, 126, 137]. Видимо воевода не снял верхней одежды, кроме того, при нём – шпага, которую, входя в дом, было принято отстёгивать. Воеводе не позавидуешь – приходится выпивать в жарко натопленном помещении (идёт масляная неделя) полностью обмундированным. Создаётся ощущение, что он боится гостей. Чем же иначе объяснить его экипировку?

Ещё больше несуразности с помощником воеводы – писцом Епишкой. Судя по всему, Е.А. Фёдоров и сам не сумел определить ни с сословной принадлежностью, ни с профессиональным статусом главного героя. В начале повести Епишка именуется писцом и «правой рукой воеводы». Однако должность его малозначительна. В XVIII в. все, кто трудился в сфере гражданского управления, делились на две категории. Одни относились к чиновникам (т.е. к тем, кто «имел чин»). Другие же – к низшим канцелярским служителям: копиистам, подканцеляристам, канцеляристам, губернским регистраторам. Низшие канцелярские служители были отстранены от принятия решений. Обычно они выполняли работу по переписке документов, поэтому неофициально их могли именовать писцами, писарями. Одновременно писцами, а позднее писарями, именовали лиц, нанятых крестьянским самоуправлением для ведения текущего делопроизводства. Все они работали по найму и не числились на государственной службе [9, 22-23].

Пребывание же на государственной службе в военных и гражданских чинах давало определённые привилегии: право на получение дворянства, освобождения от телесных наказаний и ношения мундира. Мундир Епишка не носит, внешность у него мужицкая, с бородой. Этой бородой он щеголяет как в Шадринске, так и в Петербурге. Между тем, все служащие в присутственных местах были обязаны одеваться по-европейски. Ношение бороды в государственных учреждениях было повседневным делом до петровских реформ. Очевидно, что Епишка перебрался служить к воеводе напрямую из XVII в.

Не случайно, что по дороге в Петербург в губернаторской грамоте он именуется «служилым человеком».

Понятия «служилый человек» и «грамота» употреблены в повести не вполне уместно. Служилыми людьми называли лиц, состоящих в XVI-XVII вв. на военной или административной службе. Для второй половины XVIII в. в официальном делопроизводстве данный термин выглядит явным архаизмом. У Е.А. Фёдорова «грамота» выступает как командировочное удостоверение, но в дореволюционной России она, прежде всего, выступала как «свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличий» [10, 137]. Епишка же ехал по казённой надобности, у него никаких пожалований ещё не было. Не вступал он и в договорные правоотношения, которые могли быть закреплены особой грамотой, например, купчей.

Интересные метаморфозы происходят с Епишкой в столице империи. Сначала он вступает в конфликт с будочниками, затем – со «швейцарскими солдатами» (это не наёмные швейцарцы, как можно подумать, а караульные при входе) и, наконец, получает полсотни розог по личному приказанию европейски образованной Екатерины Алексеевны. Чудеса начинаются после порки. Поскольку английский посол заинтересовался шадринскими гусями, Екатерина II награждает пройдоху ста рублями и даёт офицерский чин. При этом государыню не интересует множество вопросов, порождённых довольно странным её поступком. Она даже не удосужилась узнать: а находится ли вообще на военной службе новоиспечённый офицер? Как отнесутся к её решению дворяне, когда узнают, что в их замкнутый военный круг попал безродный мужик, да ещё выпоротый?

Дело в том, что телесные наказания были помимо прочего ещё и позорящими, они свидетельствовали о лишении чести. Например, поротый солдат уже не мог быть произведён в офицеры – ведь офицерский чин означал принадлежность к бла-

городному дворянскому сословию. Итак, выпоротый Епишка вернулся в Шадринск не только в офицерском мундире, но и с «медной медалькой». Откуда он её взял, автор не сообщает. Большинство русских медалей второй половины XVIII в. учреждалось для участников победных сражений в русско-турецких войнах [11, 351-352]. Может быть, на обратном пути Епишка ненароком заехал в район боевых действий? Версия не столь уж неправдоподобная, если учесть, что, двигаясь вместе с царскими гусями в Петербург, Епишка, по воле Е.А. Фёдорова, оказался в будущем времени. Гусиный обоз, отправленный в столицу до восстания Пугачёва 1773-1775 гг. попал в Пермь, образованную на месте Егошинского завода в 1781 г. [12, 568].

«Выслужившись» до офицерского чина, Епишка отнюдь не сбривает бороду и переквалифицируется в купцы – сословие, стоящее в социальной иерархии ниже дворянства. Улучшилось его материальное положение – Епишка в Шадринске «каменные хоромы воздвиг на самом видном месте». Воздвиг он их задолго до исторического подтверждения первого каменного жилого дома в Шадринске, построенного в начале XIX в. [13, 11]. Строительство каменных домов обходилось чрезвычайно дорого, иметь их могли себе позволить купцы, ворочающие десятками и даже сотнями тысяч рублей. Епишка тоже не бедствует, он развернул торговлю с англичанами, поставляя им гусей. Желая купить ходовой товар, английские купцы не ленятся лично приехать в Шадринск, лежащий за тысячи километров от пограничных портов. Их вовсе не интересует уральское железо, тогда лучшее в мире, пенька, идущая на изготовление канатов для английского флота, дешёвое баранье сало, пригодное для изготовления свечей и смазочных масел для деталей станков. Только гуси и ничего больше!

Не меньшие оригиналы и русские купцы. Усложняя жизнь иностранным коллегам, они, взамен выгодной доставки в Петербург или Архангельск продают товар на местах. На самом деле русское купечество предпочитало торговать с англичана-

ми в Петербургском порту [14]. А шадринские предприниматели в первой половине XIX в. вышли на международный рынок с бараньим салом [15, 145-146]. Максимальной же алогичностью в «Шадринском гусе» отличаются челябинские купцы. Согласно сюжету повести, в январе 1774 г. они прибывают в Шадринск держать совет с местным купечеством. Собираясь в Шадринск, они не обратили внимания на приближение к Челябинску отрядов пугачёвцев, на начало восстания в родном городе [16, 119-121].

Исторические несообразности присутствуют в «Шадринском гусе» буквально на каждой странице. Их невозможно объяснить только исторической малограмотностью автора повести, хотя некоторые сюжеты буквально переписаны из других произведений. Е.А. Фёдоров пытался, хотя и негодными средствами, продолжать традиции классической русской литературы, обличающей чиновный и купеческий произвол. Однако, в отличие от предшественников, его критика была направлена не на искоренение современных пороков, а на «разоблачение» уже уничтоженного общественного строя. Советская действительность второй половины 1930-х гг. фактически оправдывалась писателем через высмеивание прошлого.

В конечном итоге, Е.А. Фёдорова интересовали не поиски истины как таковой, а обоснование через сатирическое художественное произведение господствующей политической доктрины. Вольно или невольно он создал миф, ставший устойчивым компонентом культуры. Поскольку и сегодня есть ещё немало «писателей» и «учёных», занятых аналогичными умственными усилиями, повесть Е. Фёдорова может быть востребована читателями. Она значима ещё и потому, что действительно раскрывает историческое прошлое. Через похождения Епишки мы вдруг начинаем понимать, как воспринимали мир советские люди, их систему взглядов, семантические коды и табуированность мышления.

Всего один, но характерный пример. Автор повести так и не смог довести (точнее – довести) своего непутёвого главного героя до суда пугачёвцев. Епишка умер, объевшись жареными шадринскими гусями... Что помешало Е. Фёдорову «привести приговор в исполнение»? Нежелание лишний раз акцентировать внимание на жестокости повстанцев? Боязнь советской цензуры, которая могла усмотреть аналогии со знаменитыми политическими процессами тридцатых годов? Или законы жанра? При всей своей непритязательности повесть заставляет задуматься о многом... В том числе и о получении первого места на Ленинградском областном литературном конкурсе в 1937 г. Конкурс был организован по инициативе А.А. Жданова, первого секретаря обкома ВКП (б), начавшего свою карьеру в 1917 г. именно в Шадринске [17, 150-151].

Литературное творчество Е.А. Федорова в искаженном виде отображало подлинное прошлое. Писателя неоднократно критиковали за историческую безграмотность. В частности, П.П. Бажов обращал внимание руководства Союза писателей на несуразности в романе «Демидовы» [18, 346-357]. Однако повесть «Шадринский гусь» стала одним из успешно реализованных отечественных историко-художественных мифов. Этот миф до сих пор жив в общественном сознании, в него верят. Соответственно «Шадринский гусь» подталкивает нас к постановке ряда вопросов. Каким образом шло формирование подобных мифов? Какие этапы литературного мифотворчества допустимо выделить применительно к Зауралью и Сибири?

Своеобразной отправной точкой на этом пути стал первый советский сибирский роман «Два мира» (1921 г.). Эта книга была написана по горячим следам Гражданской войны [19]. Её автор В.Я. Зазубрин (его настоящая фамилия Зубцов, 1895-1937, по другим данным 1938 гг.). Этот писатель был личностью авантюрной и увлекающейся. Он – участник революционного подполья в царской России, по собственной инициативе внедрившийся в число секретных агентов полиции. Впоследствии

это послужило основанием для обвинения его как провокатора. Хотя Зазубрин был оправдан, но доверия лишился. Кроме того, он обучался в трех юнкерских училищах. В 1918 г. Зазубрин мобилизован в Белую армию и после окончания учебы стал колчаковским офицером. В конце 1919 г. перешел на сторону партизан. С приходом Красной армии, в которой служил до 1922 г. вступил в партию, стал заниматься выпуском газеты «Красный стрелок». Организатор журнала «Сибирские огни». Участвовал во внутрипартийной борьбе, за что и был исключен из партии в 1928 г. Расстрелян в ходе Большого террора, посмертно реабилитирован в 1956 г.

Наиболее убедительные те страницы романа «Два мира», в которых описаны не положительно-плакатные красные, а противоречивые белые, и в первую очередь прототип самого В. Зазубрина офицер Барановский. Не случайно, что литературовед В. Яранцев предположил, что первоначально роман был вовсе не о борьбе двух миров, красного и белого. Этот мир был один – мир мятущегося интеллигента, попавшего в бурный водоворот Гражданской войны, с её неизбежной жестокостью. И лишь затем, в силу необходимости, в роман были включены главы, нарушившие его сюжетное единство. В. Яранцев провел предварительный анализ на выявление, как он их условно назвал, «ВЗ-меток» – несомненных автобиографических моментов, присутствующих в романе [20].

Полагаем, что внутри этих меток и рядом с ними вполне возможно выявление значимой историко-этнографической информации. Это – воссоздание нравов, царивших в белом движении, в первую очередь в офицерской среде. Здесь присутствуют детали повседневного быта юнкеров и младших офицеров, недавно получивших погоны. В начале романа в колчаковском Иркутске производятся в офицеры множество юнкеров, «сбежавшихся к гостеприимному и хлебосольному адмиралу со всех концов России. Тут были гордые павлоны, «тонные», спесивые тверцы и елисаветградцы, «шморгонцы»,

владимирцы, лихие рубаки – юнкера царской сотни – и славные сподвижники атамана Семенова. Были среди выпущенных и невоенные, шпаки, шляпы, полтинники, гробы, как их называли, кадеты, считавшие себя военными с пеленок» [19, 44].

Перечисление прозвищ юнкеров дополняется этнографической информацией о традиционных загулах при получении ими офицерских погон. Один из героев романа Мотовилов рассказывает о традициях Павловского и Николаевского училищ: «Сегодня, скажем, вечером, начальство заседает, обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого-то выпуска юнкеров. А юнкера, завтрашние подпоручики, в эту же ночь встают и, надев полное офицерское снаряжение на нижнее белье, босиком, под звуки своего оркестра, торжественно, церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы, ничего, любили подсматривать из-за занавесок в щели приоткрытых дверей, любовались на молодцов. Когда обойдут все училище, возвращаются в роты, тут уж начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают – кровати на спинки со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксой начистят, кого в желоб умывальника шарahnут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотят. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит. Офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском, так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебеля в своих кальсонах маршируют, а там вахмистры в дамских панталончиках, со шпорами на босу ногу» [19, 51-52].

Ощущение достоверности передается посредством цитирования немалого числа отрывков песен (шансонов, городских романсов), характерных именно для периода Гражданской войны. Так, например, в романе воспроизведены отрывки знаменитого уличного «Шарабана»:

*Ах, шарабан мой,
Шарабан,
А я мальчишка
Вечно пьян [19, 186-187].*

Заметим, что это один из редких вариантов песни, в котором вместо «девчонки-шарлатанки» представлен «мальчишка» [21, 21-24, 193-195]. Известно, что песня «Шарабан» использовалась как пароль членами антибольшевистской организации в Самаре, позднее белые ходили с ней в атаки на красных [22]. Разумеется, что для офицеров были характерны не только загулы. Они, как профессиональные военные, не могли не задумываться о проблемах взаимоотношений с рядовым составом, о причинах побед Красной армии. И это тоже зафиксировано в романе.

Во время одного из неудачных боев Барановский с досадой вспоминает слова своего лектора по тактике, о том, что «яркие лоскутки, тряпочки, галунные нашивки в виде погон, петлиц, кантов, шнурков, ордена, кокарды, звезды влекут к себе сердца серых мужичков. Мы должны воспитать солдат в духе любви и преклонения перед этими побрякушками. Мы должны убедить солдата, что только в его полку, лучшем полку во всей армии, есть красные петлицы с черным или белым кантом. Мы должны убедить его, что он, счастливец, если носит на штанах золотой галунный кант. И верьте, господа, если мы убедим его в этом, если сумеем заставить поверить нам, то в бою, на войне этот солдат за эти яркие лоскутки сложит без рассуждений свою голову, докажет, что его полк, единственный по доблести в армии, ибо он носит петлицы с черным кантом. Фетишизм живет в душе народа, это, господа, надо учесть и использовать широко и полно» [19, 156-157].

В романе присутствует описание боевых действий, характерных именно для Южного Зауралья. Имеется привязка к конкретным географическим названиям этого региона: Щучье, Тобол, Петропавловск. Есть сведения об особом характере N-ской добровольческой дивизии, куда Барановский направлен служить. Она сформирована из уральских рабочих и воюет под красным флагом. Указана и фамилия командира, который инструктирует новоприбывших – полковник Моча-

лов. И дивизия, и её полковник не выдумка Зазубрина. Это знаменитая Ижевская дивизия с её командующим генерал-майором В.М. Молчановым (1886-1975 гг.). В воспоминаниях участника Белого движения А.Г. Ефимова указана точная дата встречи: «1 августа прибыло пополнение – 52 молодых офицера из Иркутской школы и 842 солдата, из которых более 300 были поправившиеся от ранений и болезней Ижевцы» [23, 166, 358-360, 383].

В.Я. Зазубрин дает правдивые зарисовки взаимоотношений между солдатами воюющих армий, между военным и мирным населением. Он фиксирует, как доброжелательность между людьми исчезает по мере усиления хаоса в войсках Колчака. Поражения пробуждают озверение, низменные чувства. От бывшего офицерского лоска не остается и следа. Реконструкция психологической атмосферы в романе «Два мира», которая порождена военными действиями, удивительным образом перекликается со стилистикой газетных заметок Вс. Иванова. Дело в том, что будущий классик советской литературы осенью 1919 г. подвизался в роли военного корреспондента, причем на стороне белых. Он писал очерки в газету «Сибирский казак» [24]. И здесь также имеется множество достоверных психологических эпизодов военного быта.

К числу литературных произведений, повествующих о 1917 г. в Зауралье, относятся книги «На берегах Исети» Я.П. Власова и «Страшный суд» А.К. Югова. Первая из них оказалась почти не замечена литературной критикой, что не удивительно. Повесть «На берегах Исети» в целом лишена художественных достоинств. Второе произведение, напротив, ждала громкая известность. В 1972 г. дилогия писателя А.К. Югова «Страшный суд» была удостоена Государственной премии РСФСР им. М. Горького. Что, помимо близости времени и места описываемых событий объединяет две книги? Дело в том, что А.К. Югов (1902-1979 гг.) и Я.П. Власов (1903-1978 гг.), в детстве и молодости были непосредственны-

ми свидетелями ряда исторических событий в Зауралье. Это обстоятельство также предполагает желательность источниково-ведческой экспертизы их книг.

Итак, в 1952 г. Я.П. Власов опубликовал повесть «На берегах Исети» [25]. В этом произведении шла речь об установлении Советской власти в Зауральске. Из описаний данного города немалое число географических деталей указывает на легко узнаваемый Шадринск. Наблюдается также перекичка между героями повести и реальными историческими лицами. Самая значимая фигура здесь – Андрей Журов. Он «списан» с ранее упоминаемого А.А. Жданова, в будущем видного партийного деятеля в окружении Сталина. Еще один узнаваемый персонаж – Задорнов. Его прототипом послужил шадринец Н.В. Здобнов, видный эсер, впоследствии известный библиограф.

По данным В.Н. Иовлевой, при создании повести Я. Власову помогали консультациями его земляки: выпускник Дерптского университета К.Н. Донских и известный исследователь В.П. Бирюков. Иначе, замечает краевед, эту работу автору «самому бы не осилить. К.Н. Донских невысоко ставил книгу, называл её газетным очерком» [26, 92]. Известно также, что сестра Жданова Анна Александровна также делала необходимые замечания, призванные усилить в романе признаки пролетарского происхождения и бедности главного героя повести [27, 23-24]. Были и другие свидетели революционных событий в городе Шадринске [28]. Однако использование имеющихся у них достоверных сведений, похоже, мало заботило автора повести. Что есть исторически ценного в данном «очерке»? Отображение событий революционного прошлого, настроений и ожиданий в 1917-1918 гг. жителей Зауралья, вовлеченных в Гражданскую войну? Отнюдь.

Эта книга не столько про бедствия населения, сколько про победы вождей. Апологетика фигуры Журова здесь достигает максимальных высот. В повести он представлен как полномочный представитель уже тогда «великих» Ленина и Сталина.

Вообще-то прототип главного героя (А.А. Жданов) в то время даже не был вполне офицером. Он числился заурядным прапорщиком в запасном полку. Таких «скороспелок» с офицерскими погонами в военное время было выпущено десятки тысяч. Невелик был и партийный стаж: Жданов состоял в РСДРП с 1915 г. Самое же интересное, что Жданов до второй половины 1917 г. примыкал вовсе не к большевикам, он числился среди меньшевиков-интернационалистов [29, 28].

Но ведь работа над книгой началась много позднее описываемых в ней событий, только в середине 30-х гг., когда Жданов был в силе! И, конечно же, Я.П. Власов не мог не догадываться о причинах успеха, который выпал на долю «Шадринского гуся» Е. Федорова! Не случайно, что автор повести и не стремился точно отобразить нелегкое прошлое, в котором, например, юный А.А. Жданов некоторое время находился в подчинении у более опытного Н.В. Здобнова [29, 30-31]. Его задача была иная – показать иконописный лик идеального большевика Журова. Поэтому в повести «На берегах Исети» по преимуществу воспеваются героические поступки Журова и его сакральные, донельзя правильные марксистские речи.

Положительные черты главного героя лучше всего оттеняются на фоне верных сподвижников и злобных врагов. В повести с избытком хватает и тех, и других. Интересно, что противниками Журова в уездном городке оказываются не только левые и правые эсеры, анархисты, фабриканты, кулаки, офицеры, но представители мировой закулисы. Это два матерых шпиона: американский консул во Владивостоке мистер Хью Джексон и корреспондент английского агентства сэр Вальтер Гроун. Первый из них максимально активен и опережает второго. В США Джексон дружит с торговцем в бакалейной лавке, руководителем ку-клукс-клана в штате Канзас и, одновременно полковником Гарри Труманом...

В повести выясняется, что в 1906 г. американская разведка завербовала анархиста и по совместительству матроса

торгового судна Поротова. Теперь иностранцы прибыли в город Зауральск, чтобы использовать своего тайного агента. И не беда, что Поротов не сделал карьеры и прозябает в глухой провинции. Особо не рассчитывая на предателя (самодержавного строя и Советской власти) шпионы часть заговорщических и разведывательных дел в Зауральске выполняют самостоятельно. В частности, они тайком фотографируют местную замшелую солдатскую казарму, но оказываются пойманными на месте преступления. Интересно, что между американцем и англичанином немало противоречий, они так и не договорились, какая страна будет господствовать в мире [25, 122-125, 154-155].

Нет сомнения, что эти карикатурно нелепые фигуры, как и упоминаемый ими «Гарри Труман» проникли в литературное произведение не из времен Гражданской войны. Данные типажи, вплоть до их внешности (толстый с пухлым животом американец и долговязый англичанин; оба в клетчатых «не наших» пальто) являются узнаваемыми персонажами советской пропаганды времен позднего Сталина. Вольно или невольно, но провинциальный журналист Я.П. Власов представил нам стереотипные образы реакционных представителей империализма, которые генерировались официальной идеологией и поглощались народными массами. Сервильное преклонение автора перед сакральными, никогда не ошибающимися почти неизменяемыми временем и неизменными вождями автоматически требовало и изображения узнаваемых хтонических врагов, также живущих вне привычных пространственно-временных рамок.

Куда сложнее конструкция эпического масштабного полотна «Страшный суд» А.К. Югова. Данный роман также повествует о жизни Зауралья накануне и после 1917 г. В центре художественного произведения стоит семья предпринимателя Шатрова. Писателем она подана максимально привлекательно: патриоты, люди чести, заботящиеся о производстве и работни-

ках. Противостоят им жадные купцы – «мамонты сибирские», зарубежные хищники, скрытые и открытые масоны [30]. Нет сомнения, что эта книга в советский период могла быть опубликована именно тогда, когда прежняя идея пролетарского интернационализма исчерпала себя, когда началось подспудное размежевание общественного сознания. В то время часть отечественных литераторов стала ориентироваться на либеральные западные ценности. Другая, в противовес им (к ней относится и А.К. Югов), сделала ставку на консерватизм и государственность.

Отвлекаясь от несомненных литературных достоинств романа, от детального освещения общественно-политической и литературной ситуации конца 60-х – начала 70-х гг. XX в., допустимо проанализировать степень исторической достоверности «Страшного суда». Однако такому анализу препятствует скудость информации об отроческих и юношеских годах будущего писателя. О раннем периоде своей жизни, о Гражданской войне в Зауралье плодovitый писатель мемуаров не оставил. На назойливый вопрос «почему?» ответов пока нет. Собственную биографию А.К. Югов описывает только с 1920 г., с начала трудовой деятельности в Одессе. Интересно, что путевку в литературную жизнь ему там дал его земляк зауралец, впоследствии знаменитый советский писатель Вс. Иванов.

Известно, что А.К. Югов был третьим младшим сыном в семье волостного писаря, переквалифицировавшегося затем в сельского предпринимателя. В 1914 г. мальчик поступил в Курганскую гимназию, где участвовал в издании журнала «Школьные годы» [31]. В это время наибольших успехов добился Союз Сибирских маслодельных артелей (далее – ССМА). Благодаря деятельности ССМА, успешно развивалось кооперативное движение в Сибири, резко снизились цены на промышленные товары для крестьян. Однако политика ССМА разоряла сельских лавочников, в том числе и К. Югова. Последний, с общественной трибуны, был ярост-

ным оппонентом ССМА, о чем уже писал исследователь Н.Ю. Толстых. Он обратил внимание на непоследовательность позиции К.А. Югова, выступавшего: в Курганском уезде от имени торговцев, а в Челябинском уезде от имени крестьян [32]. Как здесь не вспомнить классическое определение В.И. Ленина о шараханьях и «революционности» мелкого буржуа! Видимо отцовские черты, его горячность писатель перенес на главного персонажа дилогии Арсения Шатрова.

Но если Югов старший защищал только коммерческие интересы (себя и близких ему торговцев), то Шатров претендует на нечто большее. Он, под пером писателя, вырастает в былинную фигуру, в которой олицетворяется чуть ли не вся сила русского народа. В Зауралье Шатров первый начинает торговлю маслом, первым применяет турбины в мукомольном деле. По сравнению с ним образы других предпринимателей дилогии мельче, незначительнее. Так «пионер металлургии и турбостроения» П.А. Башкин (без изделий которого мельницы Шатрова не смогли бы работать), достаточно образован, и вроде бы, прогрессивен (ездит на новомодном красном «Рено»). Однако жилищные условия его рабочих в романе ужасающие. Это «рабочие бараки, где человек на человеке», где «холостые от семейных одной только занавеской на нарах отгорожены» [29, 53].

Нет сомнения, что литературный образ Башкина вызывает переключку с реальным историческим лицом – С.А. Балакшиным, который принадлежал к известной предпринимательской семье. Именно его отец, А.Н. Балакшин, был до 1912 г. бесменным руководителем крупнейшего в России ССМА. Затем бразды правления он передал старшему сыну – Андрею. Младший из сыновей – Сергей – явился основоположником гидротурбостроения в Зауралье и первым в Кургане приобрел автомобиль. Не чужды были семейству Балакшиных и оппозиционные настроения. Отец помнил детство, проведенное в Ялуторовске, в общении с декабристами, высылку в Сибирь

за участие в революционном движении в 1861 г. в Казанском университете. Он тяготел к кооперативному социализму. Негативно оценивались в донесениях полиции его сыновья Андрей и Сергей. Андрей характеризовался как человек «крайне либерального направления», а Сергей и вовсе в 1906 г. обвинялся в принадлежности к Курганской группе РСДРП, но к суду и следствию не привлекался [33, 7-12].

ССМА проводил достаточно жесткую торговую политику, будучи связан с западноевропейским капиталом. По мнению современного историка Н.Ю. Пивоварова, «это был исключительно централизованный кооперативный союз, полностью контролировавший деятельность всех низовых маслодельных артелей» [33, 118]. Как могло молниеносно возникнуть это крупнейшее монополистическое объединение? Допустимо ли свести причины его появления только к предпринимательской одержимости Балакшиных? Последовательное объяснение этого феномена предложил историк П.А. Свищев. Он зафиксировал состояние перехода Южного Зауралья от аграрного общества к индустриальному. Но для такого перехода (в частности, лишения непосредственных производителей средств производства) отсутствовали возможности перемещения пролетариев в город, в силу недостаточного развития последнего.

«Однако положение облегчалось наличием внешнего рынка – замечает исследователь – именно он помог не проходить последовательно всех стадий «первоначального накопления капитала», а создать, казалось бы, на пустом месте, механизм, позволяющий восстановить равновесие между экологически возможными системы и теми внешними и внутренними перегрузками, которые она испытывала, ответить на вызов «большой экономики». Таким механизмом стала кооперация, и прежде всего маслодельная» [35, 147]. Интересно, что самодержавие, руководствуясь патерналистской идеологией, стремясь снизить недовольство крестьян, исходя из фискальных

интересов, и не желая возиться с торговой мелкотой, также поддерживало кооперацию [36, 112-113].

Далеко не все зауральцы смирились с дисциплинирующими практиками, которые несло с собой индустриальное общество [37, 276-281]. Причины быстрого появления (вместе с железной дорогой) большого числа зарубежных фирм и такого гиганта как ССМА, для мелкого, иногда и среднего торговца были катастрофическими. Самое большее, на что он мог рассчитывать: стать их торговым агентом. Это порождало озлобление. Один из курганских купцов при встрече с путешественником и композитором В. Гартвельдом признавал, что местные предприниматели склонны к мошенничеству и поэтому не смогли наладить деловые контакты с зарубежными фирмами:

– Тут-то они уж окончательно на нас взъелись и прекратили с нами всякие сношения... Нард придирчив да обидчив! Ты толком поговори да обсуди! Может и сошлись бы по совести, а они – конец! После этого они отправили сюда своих людей и те теперь сидят здесь. Сами у крестьян масло покупают, и сами высылают его в неметчину. А ценою так избаловали мужиков, что нам с ними тягаться нет возможности. Вот, – кончил он, показывая себе на затылок, – где эти иностранцы у нас сидят! А кто хлебом кормит все эти разные там Европы, если не мать Рассея?

Когда я робко заметил купцу, что за хлеб в Европе ведь платят деньги, он в порыве патриотического подъема отрезал:

– Да на что нам деньги-то ихняя? У нас своих девать некуда! Счастливцев! [38, 133-135].

Как всё вышеизложенное должно было преломиться в общественном сознании слоя мелких частных торговцев и, возможно, К.А. Югова? Есть чужаки, понаехавшие в Сибирь. Есть связанные с ними адвокаты, масоны, предприниматели и самодержавие, не защищающее исконно русские интересы. Сетования купца перекликаются со страницами диалогии, посвященными вынужденному выходу Арсения Шатрова из масляного

бизнеса. «А он понял: в распахнутую им область сибирского промышленного маслodelия вступила чудовищная, необоримая для него, зарубежная, чуждая сила. Это был международный концерн, главным образом датско-американский, наполовину тайный, – исполинский союз хищников, замысливший завоевание всей Сибири – от Урала до Тихого океана, – завоевание без единого выстрела, и уж на столетия!..» [30, 81].

Переломить негативные тенденции, по мнению главного героя, возможно только жесткими мерами. Свой рецепт он огласил во время Первой мировой войны, когда разразилась вакханалия спекуляций и взяток:

– Проект простой. Поставить на откидную вагонную платформу три виселицы...

Любопытна одна из ироничных ремарок участника дискуссии большевика Кедрова:

– Ну, что ж, для начала неплохо! [30, 214].

Чтобы показать полезность террора, в романе выведен один из деятелей мировой закулисы. Это адвокат, кадет и масон в одном лице Анатолий Витальевич Кошанский. Он имеет связи в Томске и Петербурге, а в годы Гражданской войны даже способен воздействовать на решения адмирала Колчака. Можно предположить, что прототипом этого персонажа стал кадет Иван Евгеньевич Рагозин, дворянин, присяжный поверенный и совладелец завода [39, 35]. Интересно, что замаскировано он также бегло упомянут в романе: противостоящие Шатрову владельцы паровых мельниц направляют в столицу некоего «адвоката Рогожкина». Именно с ним и должен бороться А.В. Кошанский [30, 109].

Почему же Рагозин упомянут в романе только один раз, да и то уничтожительно? Косвенным свидетельством подобного невнимания может служить публикация его статьи «Через 100 лет» в основанной им курганской газете «Юг Тобола». Широко отмечаемый вековой юбилей Отечественной войны побудил автора сравнить ушедшую и настоящую Россию. Сравнение

оказалось не в пользу современности. Да, в начале XIX в. в России не было городов, но крестьяне жили лучше, а помещики служили. Да, крестьяне не были развиты, но они не хотели быть католиками, а идеи Французской революции за исключением декабристов не были восприняты. Теперь есть города и промышленность, но помещики падают как класс, а движение России на пути в Азии уже остановлено другими культурными народами [40].

Известно, что статья «Через 100 лет» вызвала резкое неудовольствие у официальных властей. Рагозин был арестован, выпуск газеты приостановлен до оправдательного приговора в начале 1913 г. [41]. Прогрессивная журналистика того времени была на стороне автора. Характерно название еще одной публикации в журнале «Сибирские вопросы». Она называется «Через двадцать пять лет», её начало фактически содержит прямую отсылку к статье Рагозина: «Мы не могли бы сказать, чем будет Сибирь «через сто лет». Даже ставить такой вопрос рискованно». Далее анонимный автор, поддерживая Рагозина, призывает к ускорению экономического развития Сибири, к широким культурным заимствованиям у других народов [42].

Не эти ли принципиальные положения: отсутствие ксенофобии, и защита гражданских прав привели к замалчиванию позиции Рагозина и иных общественных деятелей в «Страшном суде»? Ведь выводы И. Е. Рагозина шли вразрез с основным направлением романа К.А. Югова, в котором осуществлялся поиск и разоблачение внешних враждебных сил. Поэтому автор романа постарался в своем произведении «затереть» множество реальных и максимально интересных исторических лиц. В своем негативном отношении к Рагозину писатель фактически солидаризировался с царским самодержавием.

Нет сомнения, что ставка на насильственные и простые решения импонировала части культурных маргиналов. Возможно, что к ним относился и отец будущего писателя. Спустя полвека эти мысли мог воспроизвести в литературном произ-

ведении его постаревший сын. В конечном итоге люди, сделавшие ставку на насилие, оказались в числе проигравших, кто раньше, кто позднее. Победившая Советская власть смела всех, кто имел отношение к частной собственности и наемному труду, без различия на сторонников изоляции или сторонников сотрудничества с Западом. Запоздалые попытки отчаянных одиночек отстоять изоляционистский путь отечественного предпринимательства оказались обречены и это также отобрано в «Страшном суде».

Очевидно, что А.К. Югов симпатизирует многим своим героям, как плакатным красным, так и некоторым реалистически изображенным белым. Косвенным подтверждением настоящему утверждению служат яркие образы ряда персонажей Белого движения, особенно на его начальной фазе. Они также люди чести, они истово верят в Бога и свою миссию. Для писателя важна не только их официальная идеологическая позиция, но и отношение к возможным темным заграничным внешним манипуляциям. Однако при таком авторском раскладе между адмиралом Колчаком и революционером Троцким почти нет существенных различий. Оба они, по Югову, вольно или невольно, являются марионетками мировой закулисы. И напротив, государственники (и изоляционисты) Ленин, большевик Кедров и Арсений Шатров, на завершающих страницах диалогии находят общий язык и поле для сотрудничества.

Создавая запоминающиеся образы семейства Шатровых А.К. Югов «просмотрел» многих живших тогда интересных людей и подлинные социально-экономические процессы в Южном Зауралье. В диалогии богатейший предприниматель Шатров развивает на Тоболе мельничное дело, которое больше характерно для мануфактурного производства середины XIX в. (сюжет явно заимствован из романа «Хлеб» Д.Н. Мамина-Сибиряка, где описываются реалии предшествующего столетия). На дворе была индустриальная эпоха и расчетливые курганские мукомолы уже «уходили» с рек, возводя современные

паровые мельницы. Писатель оказался даже более «кровожаден», чем реальные большевики. По воле А.К. Югова, литературный контрреволюционный П.А. Башкин был расстрелян. Его прототип Сергей Александрович Балакшин, покидая свой завод перед приближением Красной армии, «не вывез ни одного гвоздя» [43, 174]. Он осел в Томске, став университетским профессором. Его брат, как и отец, предпочли эмиграцию. Умер за границей еще один курганец, успешный предприниматель и видный большевик Л. Красин, не скрывавший в узком кругу критического отношения к политике Ленина.

Жесткое следование заданной схеме в ущерб исторической правде обеднило литературное произведение. «Страшный суд» А.К. Югова содействовал разрушению советского исторического лубка об исключительно жадных, непорядочных и непатриотичных помещиках и буржуях, об участниках Белого движения, преследующих только узкокорыстные классовые интересы. Одновременно, он же, насаждал новые мифы. Россия, Сибирь на страницах диалогии предстают исключительно в образе жертв враждебного внешнего окружения и местных компрадоров. Спасти эти жертвы могут лишь идеальные харизматичные лидеры, которые, правда, не гнушаются лить кровь своих сограждан.

По современным меркам «Два мира», «Шадринский гусь», «На берегах Исети» и «Страшный суд» были написаны достаточно давно, в бурном и уже ушедшем от нас XX в. Выборочно их тексты могут выступать в качестве историко-этнографических источников, но достоверность информации из этих произведений различна. Она уменьшается по мере временного удаления от описываемых в текстах событий. Вдумчивый анализ этих литературных произведений способен содействовать лучшему пониманию специфики провинциального общественного сознания. Он же в состоянии приоткрыть завесу над тайнами литературного творчества и уточнить биографии их создателей.

На примере данных книг мы также способны зафиксировать, как шло тиражирование и распространение мифов советской эпохи. Литературные мифы, первоначально осевшие в прошлом, оказались потрясающе активными, способными к качественной трансформации и росту. Их экспансия постепенно распространялась и на время близкое к настоящему. Сегодня вышеперечисленные книги мало кто читает, но те мифологемы, которые они сформировали, пережили их создателей и вошли в наш менталитет. Именно в плену этих мифов и живет значительная часть современных россиян.

Литература

1. Белов М.И. Мангазея. Л., 1969. 128 с. Электронный ресурс: URL:<http://www.proflib.com/chtenie/11478/Mikhail-belov-mangaseya-2php>. Дата обращения: 17.04.2014.
2. Мартынов Л.Н. Черты сходства: Новеллы. М., 1982. 224 с.
3. Фёдоров Е. Шадринский гусь. Повести и новеллы. Курган, 1951. 128 с., 1952. 110 с., 1953. 132 с.
4. Янко М.Д. Литературное Зауралье. Курган, 1960. 185 с.
5. Государственный архив Свердловской области (ГАСО) Ф. 135. Оп. 1. Д. 2.
6. Мамин-Сибиряк Д.Н. Город Екатеринбург // Город Екатеринбург. Сборник. 1889. С. 1-57.
7. Городские поселения в Российской империи. Т. 3. СПб., 1863. 680 с.
8. Карпущенко С. Армейские будни: казарма, каша, казна, кафтан // Быт русской армии XVIII – начала XX века. М., 1999. С. 13-150.
9. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. СПб., 1999. 479 с.
10. Большой юридический словарь. М., 1998. 790 с.
11. Краснов В., Дайнес В. Русский военно-исторический словарь. М., 2001. 655 с.

12. История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. 608 с.
13. Зуева М.И. Архитектура Шадринска. Шадринск, 1994. 59 с.
14. Петербургское купечество в XIX в. СПб., 2003. 352 с.
15. Ершов М.Ф. Внегородская торговля Шадринска в конце XVIII – начале XX в. // Шадринская старина. 1999. Краеведческий альманах. Шадринск, 1999. С. 145-155.
16. Курмачева М.Д. Города Урала и Поволжья в крестьянской войне 1773-1775 гг. М., 1991. 232 с.
17. Осинцев Л.П. Имен связующая нить: (Записки краеведа). Челябинск, 1988. 204 с.
18. Бажов П.П. Соч. в 3 т. Т. 3. Москва, 1975. 446 с.
19. Зазубрин В.Я. Два мира. Иркутск, 1958. 351 с.
20. Яранцев В. Зазубрин // Сибирские огни. 2009. № 6.
21. Здравствуй, моя Мурка! Лучшие блатные и уличные песни / Сост., предисл. и коммент. А.А. Сидорова. М., 2010. 208 с.
22. Шехтман П. Кокотка-беженка-воровка: «Шарабан и его хозяйка на дорогах истории. Электронный ресурс: URL:<http://www.a-pesni.golosa.info/grvojna/bel-dvor/sharaban.htm>. Дата обращения: 23.04.2014.
23. Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы. Борьба с большевиками 1918-1920. М., 2008. 434 с.
24. Иванов Вс. У черты. Очерки фронта // Москва. 2013. №12. С. 124-131.
25. Власов Я. На берегах Исети. Курган, 1952. 298 с.
26. Иовлева В.Н. О том, что в памяти. Шадринск, 2014. 146 с.
27. Борисов С.Б., Парфенова С.А. Зауралье в 1917-1922 гг. Шадринск, 2003. 60 с.
28. Буткин Н.Г. Шадринск летом 1917 г. // Шадринская старина. 1999. Краеведческий альманах. Шадринск, 1999. С. 27-36.
29. Борисов С.Б. Шадринск XVIII-XXI вв.: Очерки истории повседневности. Шадринск, 2004. 112 с.
30. Югов А.К. Собр. Соч. В 4-х т. Т. I. Страшный суд: эпопея в двух романах. М., 1984. 688 с.

31. Михашенко А.Л. Гимназические года Алексея Югова (к столетию писателя) // Деятели социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни Урала и Зауралья XVII-XX вв. Сб. мат. межрегион. научн. конф. Курган, 2004. С. 76-79.
32. Толстых Н.Ю. Кузьма Александрович Югов. Штрихи к портрету // Четвертые Юговские чтения: материалы межрегиональной научно-практической конференции (Курган, 21 марта 2007 г.). Курган, 2007. С. 21-31.
33. Государственное учреждение Тюменской области – Государственный архив в г. Тобольске (ГУТО ГА) Ф. 152. Оп. 26. Д. 91.
34. Пивоваров Н.Ю. Формирование сети сибирских потребительских кооперативов (1913-1919 гг.) // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер: История, филология. 2013. Т. 12. Вып. 8: история. С. 116-121.
35. Свищев П.А. Южное Зауралье в конце XIX – начале XX в. // История Курганской области (1861-1917 гг.) Т. 2. Курган, 1996. С. 109-222.
36. Емельянов Н.Ф., Пережогина И.Н., Смирнова О.Г. Крестьянский социализм при капитализме в Зауралье. Курган, 1994. 160 с.
37. Ершов М.Ф. Очерки провинциального мира Зауралья: города и люди конца XVIII – начала XX вв. Ханты-Мансийск, 2010. 299 с.
38. Гартвельд В. Каторга и бродяги Сибири (Историческая библиотека №47/48). М., 1912. 192 с.
39. Харусь О.А. Кадетские и октябристские организации в Сибири: опыт реконструкции социокультурного облика // Исторический ежегодник. Специальный вып. Общественное движение в Сибири в начале XX века. Посв. 50-летию А.П.Толочко. Омск, 1997. С. 31-46.
40. Рагозин И. Через 100 лет // Юг Тобола (Курган).1912. №23 от 29.08.

41. ГУТО ГА Ф. 152. Оп. 26. Д. 104. Л. 1-34.
42. Через двадцать пять лет // Сибирские вопросы. №1-2. 1912. С. 11-20
43. Васильева А.М. Забытый Курган. Курган, 1997. 359 с.

2.2. Пространство человека в советской литературе

Вопрос о смысле человеческого существования напрямую связан с той средой, которая окружает человека. Данная проблема имеет тенденцию к обострению в переломные исторические эпохи. Мы заброшены в мир, который нас окружает и должны определиться, как его оценивать. Необходим предварительный анализ образов очеловеченного пространства, возникших и эволюционировавших после 1917 г. Историческими источниками здесь способны выступить художественные произведения, в которых воссозданы образы советского прошлого, тот аромат ушедшей эпохи, который с каждым годом всё труднее улавливать. В этом отношении весьма характерны оценки первых лет Советской власти. Они были разные, но обязательно эмоциональные: от однозначно положительных, до резко отрицательных. Равнодушных здесь не было. Неприиспособленность к новым условиям существования была характерна и для радикально настроенных большевиков и для их, не менее радикально настроенных противников. Психологически первым приходилось, пожалуй, тяжелее, чем последним. Революцию ждали, к ней стремились. Но те идеологические скачки, которые она с собой принесла, оказались неожиданными.

Рассказ Алексея Толстого «Гадюка» [1] и роман Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) «Побежденные» [2] написаны и опубликованы в разные годы. Оба текста показывают отношение своих героев к окружающим их событиям с совершенно противоположных позиций. Но есть и нечто общее, что их объединяет. Это общее – почти осязаемое чуждое простран-

ство, которое окружает главных персонажей. В первом произведении речь идёт о девушке из интеллигентной семьи, так называемых «буржуев». Во втором – показаны судьбы людей из петербургской аристократической интеллигенции, которые были сметены революцией.

Повесть Толстого рассказывает о трёх этапах жизни Ольги Вячеславовны Зотовой. Автор с присущим ему реализмом описывает страдания главной героини, ищущей себя в новых условиях. Ольга выросла в семье старообрядца, купца второй гильдии. После потери близких она оказывается на стороне красных. На втором этапе своей жизни девушка пошла из госпиталя на войну за красным командиром Емельяновым. В его полк она зачислена на должность вестового. Ольга влюбляется в своего командира, однако их счастьем так и не суждено было осуществиться. Во время рейда по врангелевским тылам Емельянов героически гибнет, а Ольга тяжело раненой снова попадает в госпиталь.

Выйдя из лазарета, она снова окунулась в военные будни. «За женщину её мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка». После окончания Гражданской войны ей в «двадцать два года нужно было начинать третью жизнь». Ольга устроилась работать «писчебумажной барышней». Новая влюбленность для Ольги обернулась убийством. Директор Махорочного треста отверг Ольгу и женился на её полной противоположности: пустенькой, но симпатичной Лялечке. Последняя, возмущённая интересом Ольги к мужу, устроила скандал. Ольга не выдержала и схватилась за револьвер. «Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и – продолжала стрелять в это белое, заматавшееся перед ней лицо...» [1, 284-318].

Развязка повести исторически и психологически хорошо обоснована. Жесткие и жестокие окружающие нравы (старообрядческий быт, ужасы войны) подталкивали Ольгу к этой трагедии. Сложное время не предоставило ей возможности для

полноценной самореализации. Из вихрей Гражданской войны девушка вынесла не только потери, но и умение принять однозначное насильственное решение. Оценивая происходящее вокруг с позиций революционного времени, Ольга осталась одинокой в период «буржуазного» НЭПа. Она не нашла лучшего способа наладить отношения с чуждым ей мещанским миром, только как при помощи оружия. Револьвер оказался её единственным проверенным товарищем.

Социальное пространство, описанное в романе Ирины Головкиной также враждебно человеку. Это рассказ о жизни семьи «бывших». Они цепляются за осколки прошлого, но не могут вписаться в новую советскую действительность. В Петрограде – тоже «бывшей» столице Российской империи – теперь господствуют «хамы» и с ними невозможно жить. Большинство положительных персонажей романа представлены схематично. Они не могут расстаться с прежними привычками. Они способны на благородный поступок, но их нельзя назвать активными. Герои страдают и – только [2]. Логика их поведения, как и судьбы, легко предсказуема. Они, действительно – «Побежденные». И в то же время, это их «Лебединая песнь». Старая Россия уходит, не способная противостоять новому агрессивному напору.

Почти все герои романа умирают насильственной смертью. Они не могут объяснить причины свалившегося на них несчастья. Как жить и как укрыться от реалий нового, вездесущего государства им неизвестно. Их пространство неумолимо сужается и трансформируется от столичных улиц до лагерных бараков. Неслучайно, что первоначально роман так и назывался – «Лебединая песнь», как последний, затухающий голос уходящей эпохи... От себя заметим – выбранный героями И. Головкиной путь оказался тупиковым. Большинство людей, ради сохранения себя и близких, избрало иную логику поведения. Господствовали наивная вера и умудренная опытом позиция умолчания. Многие, как Ольга, истово верили в недалекое

светлое будущее. Другие, как Лялочка и её новоиспечённый муж, активно приспособивались. Третьи – молчали. Молчали о прошлом, о религии, воздерживались от оценки власти и политических событий.

Это пассивное сопротивление с одной стороны расчищало дорогу тоталитаризму, а с другой – давало возможность копить силы для будущего. Помимо молчания требовалось и то, что гениально сформулировал молодой А. Фадеев в «Разгроме» – жить и выполнять свои обязанности. Только так, без надрывной рефлексии и стенаний, общество могло двигаться вперед. Как в советской действительности в дальнейшем вызревали ростки нового сознания, хорошо отображено в судьбах и творчестве писателей Александра Крона и Юрия Слепухина. Два писателя. Две судьбы, похожие и не похожие одновременно. А итогом их творчества стали пронзительные своей обыденной простотой, лишённые всякой эффектной героики, произведения. Простота завораживает и в то же время пугает. Для советского читателя и Крон, и Слепухин одинаково загадочны. Неожиданные сюжеты. Неожиданные образы персонажей, выведенные писателями.

Имя писателя Александра Крона (1909-1983 гг.) стало известно в театральных кругах ещё в довоенное время. Талантливый драматург, чьи пьесы с успехом шли на лучших театральных сценах Советского Союза. А за плечами – нелегкая детская судьба, в которой отобразилась история начала XX в. Саше не было и пяти лет, как разразилась Первая мировая война, нарушившая привычный ход жизни. Потом одна за другой «случились» две революции, вспыхнула Гражданская война. Выходец из обеспеченной семьи, сын композитора, что, вроде бы, не предвещало каких-либо осложнений в судьбе в иное, благополучное время, Александр в годы Гражданской войны попал в исправительно-трудовую колонию, где вместе с такими же бывшими беспризорниками получил специальность.

Время было трудное, но он нашёл в себе силы преодолеть все невзгоды. В 18 лет стал студентом историко-философского факультета МГУ, а спустя два года в числе 60 своих однокурсников по университету был отправлен в летние военные лагеря. На этих сборах Александр встретил бывших беспризорников, которым предстояло круто изменить свою жизнь, покончив с вольницей, стать вооружёнными защитниками родины. Эта перестройка, вернее, слом старой жизни, происходила, что называется, с потом и кровью. И этот конфликт стал центральным в той пьесе, которую задумал Крон. «Винтовка № 492116», посвящённая беспризорности во время гражданской войны, была написана за двадцать дней. Пьеса была поставлена в одном из ленинградских театров. Премьера прошла «на ура!»

Во время Великой Отечественной войны Крон служит на флоте, вместе с боевыми товарищами защищает Ленинград, одновременно работает для военной печати. С тех пор тема морской службы становится главной в творчестве Крона-драматурга. Одно за другим из-под его пера выходят произведения, посвящённые защитникам блокадного города. В них Крон не просто занимается бытописанием, но стремится понять суть происходящего с героями. Его произведения – сплав социальных и нравственно-психологических проблем. В них нет второстепенных героев. Конфликты, на фоне которых разворачиваются события, обострены до предела, поражая своей полемичностью. У каждого из героев своя правда жизни.

Позже он так объяснит этот поворот в своём творчестве: «До войны я был далек от журналистики. Несколько театральных рецензий, опубликованных в предвоенные годы, – не в счет. Война заставила меня пройти ускоренный курс газетных наук. Много раз я проклинал редакционную текучку, мешавшую мне остановиться и подумать. А вернувшись с войны, уже не мог расстаться с публицистикой, она прочно вошла в мой обиход и стала душевно необходима... Я никогда не верил в плодотвор-

ность пассивных наблюдений, только активное вмешательство в жизнь создает литератору жизненную позицию...» [3].

Одно из центральных мест в творчестве Крона занимает роман «Дом и корабль». Место действия – блокадный Ленинград. Герои этого произведения – моряки-подводники. Но основное действие происходит на берегу. Здесь практически не видно моря, нет описания подвигов, нет портретов оккупантов, все буднично, даже слишком. «Торпедный залп готовится на берегу» – утверждает командир подлодки. В сущности, А. Крон моделирует замкнутое пространство, подобно авторам множества детективных сюжетов. Но здесь нет детективной интриги. Роман вырос из театральной пьесы, здесь много разговоров и мало перемещений.

Двигаться героям романа физически некуда. Они взаперти. Автор не только не скрывает данного обстоятельства, наоборот, он артикулирует его в разговорах своих героев. Замкнутый на пограничный замок Советский Союз, да еще в годы Великой войны. Замкнутый осажденный город – блокадный Ленинград. Советские вооруженные силы в блокадном городе, причем представленные самым закрытым (точнее – «затопленным») их сегментом – технически сложными «штучными» подводными лодками. Свободы в регулярных улицах, заложенных еще Петром Великим, нет абсолютно. В таких условиях человек, вроде бы, должен превратиться в строго функциональную часть. Механизма подлодки или механизма жестко заданной социальной системы, неважно.

Кислородное голодание от замкнутости объемов, их узости ощущается почти физически – достаточно вспомнить фразу истерзанного на дыбе А.В. Кикина, брошенную Петру Первому: «Ум простор любит, а у тебя ему тесно» [4, 42]. Но чувства человека не задаются только объективными параметрами техники. Недемократичная и замкнутая социальная система – подводная лодка – состоит не только из механизмов, но и, в первую очередь, из людей. Есть внешний антураж, но есть и

иное, глубинное. Достаточно привести еще одну знаменитую фразу, на этот раз – Иисуса Христа: «царство Божие внутри нас». Возникающие аллюзии с христианством не случайны. Крон, иногда опосредовано, а иногда и прямо апеллирует к подзабытым христианским ценностям. И, напротив, в его романе активно отрицаются антигуманные нормы, как нацистские, так и сталинские. Закономерно, что один из персонажей вспоминает идеолога нацизма А. Розенберга, осуждает его позицию и своё прежнее согласие с ним.

Для героев романа характерна исповедальность. Они вообще много говорят. Это не пустые разговоры. Их дискурс максимально результативен. Их жизнь и поступки подтверждают искренность произнесенных слов. Моряки лишены женщин. Таким образом, экипаж подводной лодки чем-то напоминает монастырь на молитве. Стоит ли акцентировать внимание, что блокадникам не было особой необходимости укрощать свою плоть? Ведь за них это решение приняли немцы. Голод присутствует в романе как некая данность. Но дело не только в голоде и не столько в голоде.

Проблема много жёстче: как быть и остаться человеком. Среди действующих персонажей не все понимают это отчетливо. Есть «первые» (командир лодки), но есть и «последние». Но и для них не заказан путь к искуплению. Есть сомневающиеся, есть оступившиеся люди, есть почти библейская блудница. Интересно, что, как и в Евангелие, она в нравственном отношении превосходит многих персонажей. Противоречива фигура главного героя лейтенанта Дмитрия Туровцева. Он на выучке у жесткого командира подлодки. Дмитрий далеко не идеален, вплоть до (ирония тавтологии!) плотского грехопадения.

За душу лейтенанта идет борьба. Наш герой чем-то напоминает одного из первых апостолов: то ли Петра, то ли – Иоанна. Со временем и он оказывается способен к подвигам: военным и даже нравственным, когда не побоялся защитить перед

страшными «органами» попавшего в беду товарища. Уставное существование в романе скрашивается юмором и игровыми моментами. Шутливое посвящение в «гуроны» отсылает моряков – и нас, читателей! – к ранее прочитанным детским книгам. Возникает своеобразное наложение романтики профессии на романтику книжной жизни. Оно создает эффект «расширения» пространства, условной независимости от нечеловеческих блокадных обстоятельств. На глазах у читателя происходит возмужание обычного «тоталитарного» человека, становление нового характера. Вроде бы – типичная ситуация, описанная во многих произведениях не только русской, но и мировой литературы.

Всё это так, если бы не обстоятельства, при которых эти изменения в человеке происходят. Весь роман – не просто история молодого человека. Он – о том, как приходят к подвигу, какой ценой дается человеку свобода выбора. Не поступков только, а нравственного содержания жизни вообще. О том, как укрепляется, делается значительной личность, когда добровольно взваливает на себя бремя ответственности – и не только за себя – за своё дело, за своих товарищей; каково это научиться думать.

Символично название романа. Для лейтенанта Туровцева его подводная лодка, вмёрзшая в невский лёд, не просто корабль. Это его дом, со своим характером, с особыми правилами взаимоотношений между людьми, оказавшимися в замкнутом пространстве. Молодому лейтенанту есть с чем сравнивать. В старом питерском доме, с его холодным, голодным, но чётко организованным бытом, живут коренные питерцы, представители интеллигенции. И именно эти обычные жильцы, казалось бы, совершенно неприспособленные к тяжёлым условиям осаждённого, но не сломленного города, находят в себе силы, объединившись, бросить вызов смертельным трудностям. Это единение разных людей сродни экипажу корабля, идущему через мрак и голод к прорыву блокады.

Здесь также господствуют потребности, близкие к экипажу корабля и дому Туровцева: заботиться о других и находить силы для этой заботы. Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом – всё требовало невероятных усилий. Всё стало проблемой для измученного, ослабевшего человека. Люди стали смотреть, оглядываться, и узнавать. Среди горя, любви, подвигов самопожертвования и долга видится и другое, значимое. Происходила поляризация. Хорошее выявлялось, обнажалось в своей красоте, плохое – во всей безобразности. Тут было разное: и мародёрство, и спекуляция. Кто-то наживался на голоде. Воровали продукты, выменивали на золото, на драгоценности, меха, – всякое было в многомиллионном городе.

И всё же эти люди блокаду выдержали, они переносили её из дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Они не только голодали, не только умирали. Не только преодолевали страдания – они ещё и действовали. Они работали, помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов и фабрик. Каждая судьба из переживших блокаду – типична и уникальна.

Были голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями. И тут же присутствовали активность людей, их борьба, несмотря ни на что. «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чём, что делается под солнцем» – написано в «Блокадной книге» [5]. Безжалостные библейские слова. Они не оставляют утешения. Они, как ни странно, как бы уводят от утешительной веры, от надежды на вечность человеческой души. Но так ли бесспорна их крайняя суровость?

Во главу угла в своём романе А. Крон ставит, прежде всего, этические проблемы. Вне зависимости, какие задачи поставлены перед героями. Впоследствии он напишет: «В романе почти нет батальных сцен, но мне все же кажется, что «Дом и корабль» – роман о воинском подвиге. Точнее – о воспитании для подвига. Когда человек становится героем? Мы можем назвать день и даже час совершения подвига. Казалось бы, что может быть проще такого ответа. Но если вдуматься, механизм любого подвига совсем не прост, героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он непременно подготовлен всей жизнью» [3].

Тема становления личности героя, внутренней подготовки к подвигу тесно переплетена с поисками духовности, сопровождающими персонажей романа на всём протяжении повествования. Воспитание примером, олицетворением которого выступают жители замерзающего дома, невольно меняет представления героя о масштабе личности, заявляет о праве на нравственный авторитет. Драматизм замкнутого пространства, будь то блокадный город, или поставленная на аварийный ремонт боевая подлодка, усугублённый негативным стремлением власти, незримо присутствующей рядом, к тотальному контролю над личностью, оставляет героям Крона маленькую лазейку из этого мира духовной несвободы – способность самостоятельно мыслить. Отлично сформулировал эту непростую мысль полтора века назад М.С. Лунин: «Народ мыслит, несмотря на глубокое молчание. Миллионы издерживают на то, чтобы подслушать мысли, которые запрещают ему выражать» [6, 157].

И ещё один символ. Начало и конец романа – рассказ о подвиге подводной лодки. И если этот документальный рассказ – свидетельство мужества экипажа подводного корабля, каждый член которого выполнил свой долг до конца, защищая эту небольшую «часть территории Советского Союза», то повествование романа ясно раскрывает перед читателем атмосферу,

порождающую этот подвиг, показывает путь героев литературного произведения к самопожертвованию. Рискнем утверждать, что этих людей нельзя назвать ни рабами, ни жертвами тоталитарного общества. Выиграть войну и не согнуться, способны только свободные люди, пусть и живущие в условиях несвободного общества. В этом нравственный стержень героев романа А. Крона.

Юрий Слепухин переносит своих героев, а вместе с ними – и своего читателя, в совершенно иные, нежели у А. Крона, условия и жизненные обстоятельства. Его главный герой – эмигрант. В отечественной литературе второй половины XX в. почти не нашлось места правдивому описанию жизни русской эмиграции, точнее, той её части, которая оказалась вдали от родины после Второй Мировой войны. Отношение к эмиграции «второй волны» даже на фоне отчуждения и неприятия в основной массе первой эмиграции было резко отрицательное. Для большинства советских людей все, кто вышел за пределы «железного занавеса» после окончания войны с фашизмом, – изменники, явные и тайные пособники врага. Вне зависимости от того, кто враг – гитлеровцы или американцы. Мир, победивший фашизм, снова источал злобу и ненависть, разделившись на враждебные лагеря.

В мертвящем дыхании холодной войны выразила себя в литературе вторая волна русской эмиграции. К ней принадлежали, прежде всего, те, кто был обижен советской властью. Это были выходцы из разных социальных слоёв: так называемые кулаки и подкулачники, представители дворянского и купеческого сословий, зажиточные мещане. Сюда можно причислить и так называемых «повторных эмигрантов», которые по мере продвижения Красной Армии покидали китайские Харбин и Шанхай, ставшие родными Балканы, Чехословакию, Францию и выплеснулись в широком рассеянии – от Австралии до Южной Америки. В самой Германии, в пределах Третьего Рейха, к 1945 г. находилось несколько миллионов «остарбайтеров» –

восточных рабочих, насильно вывезенных из оккупированных территорий Советского Союза, и советских военнопленных.

Отдельно необходимо отметить большое число добровольно служивших в войсках германской армии – казаков, солдат РОА и других антисоветских вооружённых формирований. По окончании войны всех их ждала печальная участь: сдавшись на милость американцам, все они, в нарушение договорённостей, были переданы советской стороне, причём тысячи успели покончить с собой до отправки в Союз. Ещё большее число было тут же или позднее расстреляно, а остальные – за единичными исключениями – погибли в лагерях.

Но и после сталинских «профилактических мер», на территории разрушенной послевоенной Европы, оставалась ещё огромная масса выметенных войной из своих родных гнёзд «Displaced Person» (т.н. «перемещённых лиц»), откуда произошло ставшее потом привычным для русского уха сокращение «Ди-Пи». Спустя полтора года после окончания войны их насчитывалось свыше полутора миллионов. Из них советских граждан насчитывалось около трёхсот тысяч. Всего же за «железным занавесом», как утверждают исследователи, оказалось свыше миллиона человек. Они-то и составили основную массу «второй волны».

Одним из «Ди-Пи» оказался, и будущий русский писатель Юрий Григорьевич Слепухин (1926-1998 гг.). По-настоящему его невозможно отнести к писателям русской эмиграции. Как писатель он состоялся уже после возвращения. Опыт жизни на чужбине у Слепухина – пятнадцать лет. Но каких лет: сначала четыре года в условиях фашистской каторги, затем мытарства скитаний. В 1942 г. Юрий вместе с семьёй был угнан на принудительные работы в Германию. После окончания Второй мировой войны, он опасался репрессий в случае возвращения в СССР. Юрий, получив статус перемещённого лица и сменив фамилию, жил в Бельгии, затем в Аргентине.

Работал строителем, механиком, электриком, художником-оформителем, сотрудничал в качестве журналиста в буэнос-айресской русскоязычной и испаноязычной прессе, там же начал пробовать себя как писатель. Занимался политической деятельностью – был в руководстве южноамериканского отдела Народно-трудового союза, одного из крупнейших в этой известной антисоветской организации. Благодаря этому имел возможность не «со стороны», а «изнутри» наблюдать жизнь политической эмиграции. Со многими был дружен. По словам И. Андрушкевича, главного редактора эмигрантской «Кадетской переключки», он «был настоящим русским человеком, хотя часто максималистом» [7].

История Ю. Слепухина как эмигранта – типична для тысяч наших соотечественников. История Ю. Слепухина как возвращенца неповторима. Многих потрясло его, неожиданное для большинства русской диаспоры, в основной массе непонятое, очень многими – проклиняемое, возвращение в СССР. Еще в Аргентине на основе юношеских воспоминаний Слепухин начал писать роман (вначале на испанском языке). Роман расширился после его возвращения на Родину до тетралогии. В неё вошли романы «Перекрёсток» (1962 г.), «Тьма в полдень» (1968 г.), «Сладостно и почётно» и «Ничего, кроме надежды» (их журнальный вариант под названием «Час мужества» впервые опубликован в 1991 г.).

Собственно говоря, уникальность творчества Слепухина заключается в том, что своей оригинальной литературы как художественного феномена поколение «Ди-Пи» в целом не создало. Причина легко объяснима. От любого, кто осмеливался затрагивать в своём творчестве эту «неудобную» эмигрантскую тему, требовалось немалое мужество. Было очень сложно не скатиться до карикатурного изображения эмигрантской действительности и донести до читателя подлинную трагедию изгнания. Все литераторы, независимо от места проживания, будь то Австралия, или Южная Америка, постоянно чувствовали

«руку Москвы», недаром многие из писателей «второй волны» переменили свои фамилии: Марченко стал Николаем Нароковым, Филистинский – Борисом Филипповым, Матвеев – Иваном Елагиным, Д.Я. Персидский – Д. Каневским. Не избежал подобной участи и Кочетков, ставший Слепухиным.

Большинство из писателей русского Зарубежья несло в себе страшный «совковый» опыт, неведомый писателям первой эмиграции, в том числе и давление идеологических шаблонов, которыми оказались пропитаны их души. Утверждённый к началу тридцатых годов «социалистический реализм» был, прежде всего, скрытой формой запрещения реализма критического с его беспощадностью к несправедливости и его традиционным человеколюбием. Огромный перечень тем и раскрытий, охватывающий самые разнообразные области человеческой жизни и выражения человеческого духа, оказался запретным для советских писателей 1930-1940 гг., и нарушить это табу значило бы выступить против единственно допустимой и обязательной в СССР идеологии, и полицейских норм послушания.

В противовес шаблону возникла опасность вседозволенности. На эту опасность указывали многие, писавшие о литературе «Ди-Пи» – «опасность обличительства и отражательства», т.е. соцреализм наоборот. «Там мне затыкали рот – зато здесь я скажу всю правду. Очень хорошо, говори, пожалуйста, правду. Это очень важно. Но как ты её скажешь? Не лучше ли написать десяток статей в газетах? Ведь правда, которая при тебе несомненно имеется, огромно велика, и начинать придётся с самого начала, со дня твоего рождения и даже раньше – с октябрьской революции» [8]. Несмотря на постоянное искушение скатиться до банальной беллетристики, писатели «второй волны» пытались внести свежую струю в слабую литературу Русского зарубежья. Им удалось раздвинуть рамки проблематики и насытить её совершенно новым, малоизвестным дотоле жизненным материалом. Именно они подготовили почву для творчества Ю.Г. Слепухина.

Его «Южный крест», несомненно, относится к шедеврам русской литературы. Но этим достоинства романа не исчерпываются. По нашему мнению, роман также обладает ценностью исторического источника. Его проблематика позволяет нам почувствовать и прочувствовать метаморфозы отечественного сознания XX века. Всегда интересно знать, как люди думали, как воспринимали значимые исторические события, современниками и участниками, которых они были. Стоит ли доказывать, что исследовать «аромат» ушедшей эпохи не только интересно, но и максимально значимо для дня сегодняшнего?

Как известно, тоталитарное сознание не способно адекватно воспринимать мир. В частности, для человека, носителя тоталитарного сознания, пространство четко разделено на «своё» и «чужое». Если первый компонент общей картины мира должен восприниматься положительно, то второй – только отрицательно. Так создаётся иллюзия простоты. Она диктует особый способ решения социальных проблем, последовательно разделяя социум на «наших» и «ненаших», хороших и плохих.

К бесконечной борьбе между ними сводится, фактически, всё историческое развитие. «Кто не с нами, тот против нас» – это не только фраза, которую хотелось бы оставить в прошлом, это афористическое выражение идеологии простого мира. Если в мире нет ничего, кроме не допускающих полутонов, персонифицированных добра и зла, то неизбежны социальные эксперименты, которыми ужаснул XX век. Свидетелями этих экспериментов и стали, вне своей воли, герои произведений Крона и Слепухина.

«Южный крест» переворачивает привычные ранее смыслы. Образ капиталистической заграницы почти начисто лишен негатива. Здесь живут обычные люди. Они работают, любят друг друга, решают общественные проблемы. Характерно, что нет никаких наветов на тяжелое материальное положение трудящихся. Неприкаянными в этом благополучном мире оказываются исключительно беженцы (русские первой и второй волны

эмиграции; немцы, сторонники национал-социалистической идеологии) либо политики – приверженцы левого или, наоборот, правого радикализма.

Капиталистической обыденности противостоит далекая абсолютно призрачная нереальная Россия. Она лишена конкретики. Ее мыслимые картины расплывчаты и фрагментарны, как воспоминания ушедшего детства. Это какая-то поэтическая заснеженная степь с церквями и стадами коней. Любовь к Родине по Слепухину альтруистична и необъяснима в принципе. Большинство эмигрантов её любят, по ней тоскуют, но к ней не слишком-то стремятся. Этот образ не нуждается в объективации. Какова реальная жизнь в Советском Союзе русским беженцам неведомо. И дело здесь не в наличии пресловутого «железного занавеса», вовсе нет.

Отсутствие подлинного желания вернуться, отсутствие стремления проверить любимый образ на достоверность означает, что человек оказался не способен вырваться из плена прежних психических и культурных иллюзий. Те, кто уехал, обычно покидали Отечество из-за идеологических предпочтений. И они, эти предпочтения, продолжают господствовать в душах людей. Миф о России оказывается способом не потерять себя в зарубежной круговерти. Иначе – неизбежна ассимиляция, что хорошо понимает главный герой романа, но не все его собеседники.

Изгнанникам неинтересно настоящее, они по преимуществу живут прошлым. Это прошлое мифологизировано. Оно может быть любого политического окраса: от белого до красного, от нацистского до антифашистского включительно. Слепухин заставляет читателя задуматься: почему же большинству людей истина не интересна? Почему обычный человек предпочитает жить в мире иллюзий? Поставленные им вопросы и сегодня актуальны и для Латинской Америки, и для нашей России.

Параллели двух пространств: российского и латиноамериканского дополняются двойственностью персонажей. Русский

участник французского Сопротивления оказывается схож с аргентинским революционером. Безалаберная «резвящаяся» бельгийка и русская эмигрантка, изменившая мужу, но не предавшая его, близки между собой не грешными поступками (они есть), но наличием, той подлинной порядочности, которая не девальвируется повседневностью и обыденностью. Особенно парадоксальным выглядит образ русской героини, ибо при внимательном наблюдении за поступками и мыслями эмигрантки Дуняши невольно возникает мысль о её схожести с судьбой самого Юрия Слепухина.

Иногда образы романа не только дwoятся, но и становятся тройственными, множественными. Перипетии «Южного креста» связывают воедино белогвардейцев, перонистов и нацистов. Неявные аллюзии присутствуют между образами советского дипломата, подлинных патриотов России, антифашистов и участников аргентинского революционного подполья, между нарочитой сексуальностью революционеров, нацистов-эмигрантов и белоэмигрантов. Несомненна также переключка между образами разных стран: России, Германии, Франции, Аргентины и Парагвая.

Зачем Ю. Слепухину потребовались многократные повторы, переплетения образов романа? Для занимательности сюжета? Для завлечения читателя? Возможно. Но не только. В принципе автор и не скрывает своих намерений. Зашифрованным указанием может служить ироничное описание якобы этнографической экспедиции на территории Парагвая. Ее участники для неприхотливых читателей публикуют очерки о местном колорите. Эти очерки «надерганы» из путеводителей и скрывают подлинную цель экспедиции – смертельно опасное сражение за справедливость, за то, чтобы истина, наконец-то, восторжествовала.

Этим же занят и Ю. Слепухин. Он, как и его главный герой, также борется за истину, за гуманитарные идеалы, о которых в послевоенное время, увы, многие успели подзабыть. Мир,

который описывает талантливый литератор, оказывается многожественен, он несводим к черному и белому, к однозначному добру и исключительному злу. За фабулой приключенческого произведения (экзотическая страна, романтические герои и карикатурно страшноватые гитлеровские недобитки) скрывается острополемическое публицистическое и патриотическое произведение. Оно имеет множество смыслов. Оно однозначно антитоталитарно.

Ю. Слепухин, по возвращении на Родину, формально творил в рамках социалистического реализма, заметим, не им установленных. Но при внешней подчиненности архаичным литературным шаблонам писатель смог наполнить их принципиально новым содержанием. Появление данного романа, как и факт его публикации и последующего переиздания в легальной (!) советской прессе есть яркое свидетельство распада отечественного тоталитарного сознания и иных, тогда еще скрытых исторических подвижек.

И Александр Крон, и Юрий Слепухин мастерски решали проблему очеловеченного пространства. На первый взгляд, их произведения мало похожи друг на друга. Различны и сюжеты, и место действия. Отчасти объединяет их образ Ленинграда. Для лейтенанта Туровцева он близок, реален. Герой ежедневно видит несгибаемый город, соприкасается с его трагедией, имеет возможность физически ощутить его близость. Видя мужество ленинградцев, Туровцев внутренне жаждет совершить свой ратный подвиг. Для того, чтобы освободить героический город, вернуть его жителям нормальную человеческую жизнь.

Для героя Слепухина образы Ленинграда – это юношеские грёзы. Это избыточная память о прошлом, оставшимся где-то там, в другой довоенной жизни. Мечта о возвращении в Ленинград для него не просто самоцель. Не просто способ мысленно вернуться в страну, которую он вынужден был покинуть не по своей воле. Это вызов системе, необоснованно вычеркнувшей его и сотни тысяч, таких как он, из списков достойных жить на

Родине. Можно лишить паспорта. Можно поставить заградительный кордон. Лишить памяти невозможно. Как невозможно заставить человека перестать быть человеком.

Предварительно проанализированные произведения отображают постепенные сдвиги в общественном сознании советской эпохи. Полярные по оценочным суждениям «Гадюка» и «Побежденные» проникнуты эсхатологическими ожиданиями. «Дом и корабль» фиксирует противостояние сплочённого коллектива жёстким тоталитарным условиям (образ замкнутого пространства). «Южный крест» идёт много дальше. В нём способностью к сопротивлению обладает уже отдельная личность, вырвавшаяся из неволи и обретшая свободу. В чём причина появления данных произведений? Здесь историку вполне допустимо порассуждать о постепенном изживании тоталитаризма. Но процесс этот не механический, он не идет «сам по себе».

Нужны люди, личности. Видимо, еще одна причина скрыта в незаурядных индивидуальных качествах послевоенных авторов. Да, они были, так или иначе, «родом» из тоталитаризма. Но Крон и Слепухин сумели выработать в себе противоядие: они вырвались из идеологического плена. Катализатором подобной трансформации послужила война. Для того, чтобы выжить, требовалось думать. Их мыслительный процесс, их побег из неволи затянулся на десятилетия. Но два писателя, и тот, и другой, смогли вырваться и до сих пор помогают это сделать своим читателям. Авторам и их героям присуща вечная ценность свободы.

Что возможно сказать в конце раздела? Только нечто тривиальное... Та трансформация советского очеловеченного пространства, которая произошла в XX в., даёт нам, сегодняшним, повод для робких последующих надежд. Человек способен оставаться человеком, какие бы искусственно созданные враждебные стены его не окружали.

Литература

1. Толстой А. Повести и рассказы. М., 1985. 336 с.
2. Головкина И. Римская-Корсакова. Победённые // Роман-Газета. 1993. №21-24. 224 с.
3. Тевекелян А. Александр Крон и его герои // Электронный ресурс: URL: http://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_mein/publitsistika/55669.htm Дата обращения: 7.10.2012 г.
4. Гордин Я. Между рабством и свободой: 19 января – 25 февраля 1730 года. СПб., 1994. 378 с.
5. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Л., 1989. 527 с.
6. Гозман Л., Эткинд А. От культа власти к власти людей // Нева. 1989. №7. С. 156-179.
7. И. Андрушкевич – Д. Филипчуку. Письмо от 14 ноября 2012 г. // Личный архив Д.В. Филипчука.
8. Михайлов О. Литература «второй волны» // От Мережковского до Бродского. Литература Русского Зарубежья. М., 2001. С. 283-284.

2.3. Историко-этнографические сюжеты авторских сказок

Современное мифотворчество подобно лавине. Оно накатывается на все социальные страты, все возрасты. Чтобы разобраться, почему в наши дни различные мифические сюжеты обладают большой популярностью и высокой степенью воздействия на людей, необходим предварительный анализ исторического прошлого. В традиционном обществе «большой» окружающий мир в какой-то мере отличался меньшей агрессивностью. Он был соразмерен масштабу отдельного человека. Это орудия труда, «заточенные», под человеческие руки, это животные, соразмерные человеческому жилью, то есть домашние. Это города и деревни с устойчивыми соседскими связями, где все знали друг друга.

Все, что находилось вне привычного традиционного мира, могло обладать любыми, самыми невероятными выдуманнами свойствами, поскольку достоверная информация всё равно отсутствовала. Так, например, для обычного человека государство тогда было далекой, трудно осознаваемой абстракцией. «Тридевятое царство, тридесятое государство» находилось много дальше, чем седьмая вода на киселе в собственной разветвленной родословной.

Однако с приходом индустриального общества ранее привычный мир поменялся на глазах. Машины стали не просто больше, они стали «над человеком». В больших городах возник эффект обезличенной толпы, а государство максимально сблизилось с человеком, причем для контроля над ним. Так полицейские в наручниках водят преступника... Социум радикально изменился, несмотря на то, что в новом индустриальном мифотворчестве всё еще использовались старые архетипические сюжеты. Однако прежние, уже устаревшие, герои и чудесные помощники понемногу начали замещаться гипертрофированными техническими образцами.

Наверное, первым случаем подобной замены в русской художественной литературе стала хрестоматийная сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.). Перед изумленным мальчиком музыкальная табакерка предстает одновременно и как техническое устройство, и как сложная социальная система, где «верхи» в буквальном смысле бьют «низы», заставляя их играть музыку. Интересно, что миниатюрные детали в сказке увеличиваются, а мальчик-наблюдатель, наоборот, уменьшается. Подобных трансформаций масштабов человека и пространства также много в произведениях Лаймена Френка Баума. Этот американский сказочник творил на рубеже конца XIX – начала XX вв. Его герои (вспомним сказку «Волшебник страны Оз») не чураются применять технические новинки, в том числе и в сказочном мире.

Весьма характерна книга Л.Ф. Баума «Волшебный выключатель», впервые опубликованная в 1902 г. В ней чрезвычайно много технических деталей и мало «настоящих» чудес. В книге мальчик Роб Джослин увлекается изучением электричества и встречается с Электрическим Джином. Последний делает мальчугану ряд подарков. Их действие основано на использовании законов физики. Так, например, можно перемещаться в пространстве, используя законы гравитации. Что Роб и делает, попутно оказывая помощь некоторым своим современникам, в частности – президенту Франции и королю Англии [1].

Итак, судя по сказке, в начале XX в. господствовала жажда прогресса. В сознании людей того времени любая территория земного шара оказывалась легко доступной и подверженной воздействию извне. Надежды на улучшение жизни перевоплощались тогда в мистическую веру во всемогущество техники. Она, эта вера, была призвана разрешить социальные проблемы. Когда этого не произошло, положительный образ техники перевоплотился в собственную противоположность. Потребовался период длительной психической адаптации, для того

чтобы человек перестал воспринимать окружающий его социальный и техногенный мир, как нечто враждебное.

«Уменьшенный» индивид должен был вырасти в собственных глазах, возвыситься, вновь встать над техникой и социальными отношениями, им самим созданными. Те вопросы, с которыми уже справилось общество, каждый из нас самостоятельно разрешал еще в период личной социализации. Эти проблемы, так или иначе, всегда присутствуют в общественном сознании. Они могут отображаться в фольклоре, в играх, в мире детства, проявляться через неврозы. Их можно обнаружить в самых разнообразных произведениях художественной литературы, вплоть до сказочных жанров. В частности, по нашему мнению, тексты детского писателя Э.Н. Успенского обладают не только литературными достоинствами, но и отображают восприятие эпохи позднего индустриального общества в нашем отечественном советском варианте.

Поэтому их, с определенными оговорками, можно рассматривать как исторические и историко-этнографические источники. Одно из интереснейших произведений Э.Н. Успенского – повесть-сказка «Гарантийные человечки» (1975 г.). За внешне непритязательным сюжетом (у каждой технически сложной вещи есть невидимый человечек, который её обслуживает) скрывается многое. Проблемы качественного изготовления и обслуживания бытовой техники, так и не решенные в советское время, оборачиваются, благодаря талантливому писателю, моделированием социальных отношений.

Существует невидимое для простых граждан Управление гарантийных человечков. Про него мало кто знает: только главные специалисты заводов и фабрик. У Управления есть собственная мифическая история. Возникновение Управления явилось следствием великой войны за сферы влияния между гарантийными человечками. Часть человечков обслуживала приборы напряжением 127, а другая – 220 вольт. Один из предводителей сторонников напряжения в 220 вольт (о нем также

мало что известно) создал Управление гарантийных человечков. Памятники скромному герою (трансформаторы) стоят почти в каждом доме, а сами гарантийные человечки уважительно именуют предводителя Великим Трансформатором.

У этого Управления есть чиновники и микровертолеты, оно ведет закрытые передачи по радио (указания, концерты) для гарантийных человечков. Впрочем, сами подчиненные на местах далеко не идеализируют власть Управления. Так, один из них, Кабытов, живущий и работающий в телефонной будке, в разговоре заявляет, что на Управление «не следует надеяться, как на бога». Он же, в свободное от работы время, от скуки подслушивает частные телефонные разговоры, оправдываясь, тем, что делать этого «никто не запрещает». И другие гарантийные человечки также не безгрешны. Они, негласно, питаются чужими продуктами, используют или заимствуют вещи хозяев бытовых приборов. Судя по всему, Управление смотрит на мелкое воровство подчиненных сквозь пальцы. В этой связи вспоминаются так называемые «несуны», характерные для последних десятилетий советской власти.

У человечков нет собственного жилья. Их жизнь проходит внутри обслуживаемых приборов. Кроме работы у гарантийных человечков ничего нет, даже семьи. Хотя возрастные различия у человечков имеются, все они относятся к мужскому полу. Детский автор многозначительно обходит проблему их рождаемости. По сути, гарантийные человечки – одушевленные полезные производственные функции. При внешней симпатичности них выхолощено человеческое начало. Ирония Э.Н. Успенского заключается в том, что еще один персонаж повести, глупая механическая кукушка из часов – Машка, смогла-таки, в противовес человечкам, хотя бы на время, найти себе пару. Она познакомилась с еще одной механической кукушкой – Петькой, который также живет в часах.

Противостоят героям повести, которых вместе с бытовой техникой хозяева вывезли на дачу, домовые мыши. И у мышей

есть собственная социальная организация, точнее – государство. Форма правления – монархия во главе с королем. Монарха окружают генералы и офицеры. Народ этот воинственный, с солдафонским юмором и афористичным мышлением. Приведем некоторые образцы высказываний: «наш солдат не думает: у нас, мышей, солдат выполняет обычаи предков. Таков наш серый герой», «Судьба играет офицером. Кому не везет, тот возит сам» (рядовой становится лошадью и возит начальство), армия «это дом отдыха, где всё делается по команде «бегом», «желудок солдата важнее головы полководца». Налицо, таким образом, откровенные заимствования из армейского фольклора, коим и славилась Советская Армия.

Приезд богатых (за счет ресурсов хозяйского холодильника) гарантийных человечков вызывает у мышей разброд и шатания. Индустриальное общество изобилия, представленное этими человечками, раскалывает нищую мышиную монархию. Большинство мышей не рвутся в бой, они согласны сдаться, поскольку жизнь в плену (сосиски!) сытнее, чем военная служба. Стихийно начинается мышиный митинг со стихотворными лозунгами и транспарантами, на который вынужден прибыть король. Прочитируем отрывки из его выступления:

– Дорогие мыши и сограждане! В наших рядах появились отдельные... отступники и изменники! И их большинство! Они узнали, что противник живет хорошо, и решили, что они должны жить не хуже! Иначе как предательством это не назовешь!

– Я вижу, мнения разделились. И теперь перед нами стоит один вопрос: королевство или колбаса? Колбаса или королевство?

У читателя здесь возникают аллюзии не только с советской действительностью (продовольственные трудности, символом которых стал дефицит колбасных изделий, стремление рядовых граждан любым способом не купить – приобрести! – престижные импортные вещи), но и с будущими перестроечным и даже постсоветским периодами. Характерно, что мыши борются не за демократию, а только за колбасу. Итоги стихийного

референдума (колбаса или королевство) несколько раз меняются. Как и в нашем мире, мышиный электорат оказался максимально восприимчив к манипулированию. Под конец митинга мышиному королю удалось сплотить своих хвостатых поданных, предложив им сохранить королевство и, одновременно, завоевать всю колбасу.

Среди мышей оказались не только колеблющиеся, но и перебежчик. Это мышонок Вася, близкий к индустриальной культуре. Он ранее жил в Доме пионеров, где и понабрался технических знаний. Васе не интересно оставаться с дачными мышами; он уезжает в город вместе с гарантийными человечками. В итоге гарантийные человечки одним своим присутствием взламывают полудеревенские структуры мышиного королевства и затем возвращаются в свой промышленный город, эгоистично не интересуясь дальнейшей мышинной возней. В повести-сказке классик детской литературы выступил и как дотошный наблюдатель социальных процессов, современником которых он являлся, и даже как провидец.

Как объяснить наличие у писателя прогностических способностей? Каким образом профессиональные историки могут использовать информацию, почерпнутую из данного произведения? Что удалось запечатлеть в сказочной повести Э.Н. Успенскому? Ряд особенностей советского менталитета. В частности, к ним относится неизжитая вера людей, в то, что в обществе должны присутствовать некие не афишируемые для обычных людей силы, подчиненные высшему начальству. Они, эти силы должны заботиться о маленьких людях, обеспечивать их безопасность и, ни в коем случае, не угрожать им. Сказочник зафиксировал человеческую потребность в некоей идее, объединяющей всех, своеобразного не детализируемого таинственного символа, мифа, заимствованного из прошлого (Великий Трансформатор). Он также отметил политическую незрелость большинства граждан, их податливость к манипуляции, агрессивность, инфантилизм, (отсюда и миниатюриза-

ция героев), табуированность в общественном сознании интимных сторон человеческой жизни.

Однако констатацией очевидных фактов советской действительности достоинства повести не ограничиваются. Важен широкий исторический контекст. Э.Н. Успенский – официальный советский писатель. Его повесть-сказка была представлена в легальной советской печати миллионными тиражами. Сказочное, фантазийное моделирование системы общественных отношений, предпринятое Э.Н. Успенским, с социологической точки зрения оказалось много точнее, строго научных изысканий советских обществоведов или западных советологов. Эффект удачного прогноза возник благодаря точности и верности авторской модели. Но для того чтобы его осуществить писателю потребовался свежий, «детский» взгляд. Это был взгляд со стороны, взгляд, лишенный стереотипов научности или претензий на истину в последней инстанции. Изначально он не мог быть серьезным.

Позиция автора «Гарантийных человечков» оказалась близка к положению средневекового придурковатого шута, с которого и взять-то нечего. Фактически эта повесть-сказка, эта весёлая антисоветчина, стоящая на грани доброго детского юмора и едкой сатиры, вскрыла кризисное состояние советского общественного сознания. Её появление – еще одно свидетельство завершенности индустриального этапа нашего исторического прошлого. Машины перестали ужасать людей, они всё более перевоплощаются в иные персонажи: куклы, игрушки, зверюшки. Но людям в индустриальном обществе не страшны и представители животного мира. Мыши и гарантийные человечки оказываются частными случаями миниатюризации всего чуждого, необычного.

Литература

1. Баум Л.Ф. Волшебный выключатель. М., 2004. 320 с.

————— ГЛАВА 3 ————— ТЕКСТЫ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

3.1. Неотрадиционализм в прозе Е.Д. Айпина

Осознание исторической и социокультурной эволюции, которую претерпевает национальная культура в меняющемся мире, представляет не только академический интерес. Известно, что в XX в. малочисленные коренные народы Севера испытали мощное воздействие извне, которое далеко не всегда было положительным. Нам важно знать не только исторические последствия такого воздействия, но и их восприятие глазами коренного населения. Проблемы анализа литературного текста как историко-этнографического источника и его репрезентации связаны, в ряде случаев, с вопросами традиционной культуры и этнической идентификации. Относится это, прежде всего, к произведениям национальной литературы.

В данном разделе исследуется творчество известного хантыйского прозаика Е.Д. Айпина, тексты которого рассмотрены как историко-этнографический источник о судьбах его народа в годы Советской власти. Строго событийный, статистический и объективистский подходы нередко «заслоняют» подлинную суть явлений. Мы знаем, что, как и когда произошло, но не понимаем мотивации действий того или иного субъекта истории, мы «не видим» его лицо, не знаем его душу. Причин здесь немало. В свое время традиционное общество А.Я. Гуревич емко

назвал «культурой безмолвствующего большинства» [1]. Отсутствие желания публично высказаться не означает, однако, отсутствия предмета для разговора, как и самого разговора. Важно его услышать, не пройти мимо. Поэтому для исследователя, в ряде случаев, допустимо и целесообразно обратиться не только к традиционным носителям обычаев и ритуалов, но и к творчеству выходцев из этой культуры, профессиональных литераторов.

Нет сомнения, что изучение творчества этого писателя настоятельно требует применения междисциплинарных подходов. И такая работа уже началась. В частности, Л.П. Миляхова и О.К. Лагунова в своих литературоведческих исследованиях творчества Айпина акцентируют внимание на том, что они использовали труды (фактически и в качестве источников) по истории, североведению, этнологии и этнографии [2, 5-6; 3, 7-9]. Сопоставление разных видов источников максимально интересно для исследователей и может быть использовано для перепроверки сведений о прошлом и их анализа. В первую очередь – для выявления особенностей менталитета, истории общественного сознания, бытовых подробностей и истории повседневности.

Прежде чем приступить к анализу творчества Е.Д. Айпина, необходимо остановиться еще на одной «частности». В гуманитарных науках идут ожесточенные споры о сущности этноса. Ожесточенная полемика между сторонниками различных направлений (примордиалистского, инструменталистского и конструктивистского) не только не угасает, но разгорается с новой силой. Пример тому выход книги «Матрица этнологии» [4]. Вышеизложенное требует хотя бы тезисно определиться с тем содержанием, которое мы вкладываем в понятие «этнос».

Политическая подоплека данных споров в принципе ясна: распад СССР, борьба за власть, ресурсы и деньги. Историческая же подоплека много сложнее. Человек существо материальное, ему нужно то пространство, где он обитает – ареал.

Борьба за территорию, за имеющиеся на ней ресурсы, может быть среди сообществ хищных приматов весьма ожесточенной. И человек также не лишен агрессивных посползновений. Но рассматривать его бытие исключительно как биологическое примитивно. Человеческий социум «выломан» из природы, лишен равновесия с ней, вынужден постоянно менять способ своего существования.

Поэтому для собственного выживания он с необходимостью обладает и иной изменяемой реальностью – языком. Любые языки имеют определенную логику развития, они подвержены тем изменениям, которые вызваны, как внутренними причинами, так и внешними воздействиями. Однако соотносить этническую принадлежность только с языком – не исторично. Генезис и последующая «доводка», конструирование этноса – длительный исторический процесс. Он определяется сочетанием двух групп реалий: объективных и субъективных.

Объективные реалии: конкретная географическая территория, способ хозяйствования, язык, который во многом воспринимается с рождения как данность. Субъективные реалии во многом определяются той исторической судьбой, которая постигла конкретный социум, её осознанием и последующим формированием базовых ценностей (термин предложен конструктивистом Ф. Бартом) [4, 50], за которыми следуют, и их воспроизводят мифы, стереотипы, «рецепты» на все случаи жизни, доминирующие у данного этноса. Объективные реалии, как нечто внешнее, также не обладают раз и навсегда заданным неизменяемым статусом. Меняется бытие человека, меняются и объективные реалии, хотя и с разной скоростью.

При этом у человеческого социума присутствуют возможности выбора. Каким образом соответствовать новым (старым) реалиям? Насколько необходимо менять собственное существование? Кардинально? Постепенно? Или попытаться уйти в изоляцию? Сводить все признаки этноса к биологическому воспроизводству, крови, семье, либо к языку, территории, хо-

зыйственному типу, этнониму (что предпочитают делать примордиалисты) означает, в принципе, отказ от исторического развития. Дополнительно это еще и поставка горячего материала для разжигания нездорового национализма. Назойливо же акцентировать внимание только на сознательной и созидательной роли политической элиты означает абсолютизацию человеческой динамики. Это потенциально ведет к волюнтаризму, оправданию манипулирования, политиканства, а, в конечном итоге, – к пренебрежению народными массами и имперскому (авторитарному или либеральному) строительству. Чем, собственно говоря, и грешат конструктивисты.

Полагаем, что этнос существует не только для «себя», но и для внешнего окружения. Для полноценной реализации ему требуется некая соотнесенность с соседями. Необходимо выявление различий в системе координат «свои – чужие». Затем следуют оценки, отторжения, заимствования. В этнологии это называется диффузией. Точно также проходит и социализация отдельного человека. Благодаря людям, с помощью людей и вопреки воле людей индивид должен найти свое исключительное место в социуме. Абсолютно изолированный Робинзон невозможен даже в романах Д. Дефо. На внутриэтнические (как и межэтнические) контакты требуется время. Понимание языка, системы этнических маркеров, кодов, усвоение особенностей менталитета лучше начинать в семье, с детства. Отсюда проистекает ориентация на семью, род, племя, этническое ядро, знание языка.

Однако способ хозяйствования, еще шире – существования может быть обособлен не только языком. Этносы, а особенно субэтносы, способны стихийно разработать и далее поддерживать особую, только им присущую, устойчивую и длительную во времени систему базовых ценностей, способов существования, постоянных взаимоотношений с соседями, не ограниченных исключительно нормами языка. Наиболее яркими этносами (субэтносами) здесь выступают цыгане,

евреи, казаки. Их культурные коды не вполне связаны с языком, что отнюдь не мешает определенной этнической самоидентификации. По разным причинам возникшее и постоянно возобновляемое отчуждение от соседей содействует формированию конкретного этноса и поддерживает его существование. Конечно, такое существование должно дополняться устойчивыми этническими стереотипами, мифами, воспроизводимыми особенностями менталитета.

И здесь мы должны вкратце рассмотреть проблему ассимиляции. Чтобы ассимилироваться необходимо, по меньшей мере, отсутствие сопротивления (например, у детей), а в большинстве случаев (у взрослых) – прямое желание. Индивидуальное или коллективное, неважно. Ассимиляция, в предельном основании, означает невозможность того существования, которое связано с прежними базовыми ценностями и этническими стереотипами. Утрата или не востребованность собственного этнического багажа, «твоего» культурного наследия в мире людей, это всегда трагедия. Иногда – предательство.

В конечном итоге, с определенными оговорками, именно инструменталистские этнологические теории, воспринимающие этнос как данность, дают методологическую возможность анализа литературного творчества тех или иных национальных писателей. С одной стороны, эти теории признают существование этноса, а с другой не зацикливаются исключительно на языке, религии или хозяйственно-бытовом укладе. Они позволяют рассмотреть реализацию потребностей индивида, его воли, защиту им конкретных целей и интересов в меняющемся социуме.

Этнографическая составляющая в творчестве Е.Д. Айпина представлена максимально полно. Писатель передает мировосприятие собственного народа, для которого природный мир одушевлен. Наиболее детально такая картина воссоздана в книге «В тени старого кедра» 1981 г. [5]. Может быть, это самое поэтическое и самое светлое произведение Айпина, чьё

творчество трудно оценить, как образец оптимизма. Её содержание много шире заявленной аннотации. Это не просто сборник рассказов для среднего школьного возраста, наполненный множеством этнографических деталей. На страницах книги предстает удивительный мир, где человек несет ответственность не только за свои действия, но и за каждое слово, обращенное к обитателям тайги. Но и звери здесь наделены даром осознания поступков: у них есть совесть, они даже понимают, что такое грех.

Именно здесь расположены истоки историософской позиции Е.Д. Айпина. В мифическом мире, как и в том мире, где живут герои его произведений судьбы людей и зверей органично переплетаются. Уничтожение этого мира, среды обитания людей и животных – трагедия. Такой мир семиотически маркирован и каждое действие его всегда знаковое. Здесь нет разрыва с прошлым, срока давности времени, поэтому память о пережитом навсегда остается с людьми.

Как подлинный гуманист, Е.Д. Айпин противник всякой жестокости. Поэтому писатель в своих произведениях безоговорочно и неоднократно осуждает убийство царской семьи большевиками. Пожалуй, максимально емко это осуждение присутствует в рассказе «Парижанка»: «Первым порушили символ веры, народа и государства – царя и царских детей, потом всех остальных неугодных. Ибо, порушив символ, избавившись от него, стало возможно рушить все. Порушили деревню. Отняли и порушили землю» [6, 191-192].

Данное высказывание не есть только частная позиция писателя и общественного деятеля Е.Д. Айпина. В мифической картине мира каждое действие обусловлено и за каждым действием неизбежны последствия. В среде носителей традиционной культуры убийство последнего самодержца и его семьи воспринималось, как рубеж и как причина всех последующих несчастий. Вроде бы наивны и уж конечно не историчны рассуждения героев Айпина о возможности предотвращения тра-

гедии в Ипатьевском доме: а что если бы Николай Второй вместе со своей семьей покинул Тобольск и попытался скрыться в среде сочувствующих ему аборигенов? Но эти же раздумья могут быть строго закономерны в рамках традиционной культуры. Главное – перестать видеть события только с позиций холодной рациональности [7, 140-149]

Традиционная культура стала своеобразной стартовой площадкой для творческого роста писателя. Так, например, детские впечатления Айпина запечатлены в книге «У гаснущего очага» (1998 г.). В этом произведении приводятся оценочные суждения взрослых, в первую очередь бабушки писателя, о произошедших в России революционных катаклизмах. Несомненная заслуга автора заключается в фиксации данных суждений. Здесь нет ничего надуманного, все исторически достоверно. В представлении старшего поколения «время четко делится на два периода – белоцарский и красноцарский. В прошлом остались времена Белого Царя, в настоящем – времена Красного Царя. Но Белого Царя чаще вспоминали добрым словом. Вспоминали по тем добротным вещам, что сохранились с его времен. Это в основном посуда из меди, «хантыйского металла». И в каждой семье имелись и особо ценились «хантыйского металла котлы» времен Белого Царя. При Красном Царе их почему-то перестали выпускать. Бабушка его не очень-то жаловала. Она открыто ворчала: вот, мол, Красный котлы-то делать никак не научится» [8, 115].

Прагматическое и в тоже время уважительное отношение к вещи здесь вновь переплетается с мифическим мировосприятием. В одушевленном мире все взаимосвязано. Низкое качество товаров народного потребления, характерное для советского периода здесь объясняется некой неполноценностью, незрелостью Красного Царя. Подобные высказывания присутствовали не только в хантыйской, но и в русской крестьянской среде. Так, К.Я. Ершова (1904-1990 гг.), сестра деда автора данной книги, отнюдь не склонная к опасным политическим

разговорам, также мерила время на две части, восхищалась добротностью старых вещей, сколько можно берегла их и считала, что и после 1917 г., где-то там, в Москве, сидит некий царь, который даже и неважно как называется.

По мнению бабушки Е.Д. Айпина, Красный Царь – не человек. У Красного Царя нет имени. Возможно, это место, которое кто-либо занимает. Он, обезличенный Красный Царь, выступает как inferнальное существо, логика действий которого обычным людям непонятна. Соответственно и созданный по указке Красного Царя колхоз не есть нечто нормальное. «Колхоз – это место... где людям придумывают тяжелую и бессмысленную работу». В символическом мире бабушки Е.Д. Айпина слово «колхоз» делится на две части. «Кул» – по-хантыйски черт, дьявол и «воз» – нарта с тяжелой поклажей. «Первое слово издавна было в языке, а второе принес колхоз, когда на оленьих упряжках начали возить сено, дрова, мерзлую рыбу и мешки с пушшиной» [8, 124-126].

Принудительному миру колхоза, этому царству несвободы, бабушка будущего писателя противопоставляла прежнее существование: «Она снова замолкает, будто припоминает, как жили при Белом Царе. А потом неторопливо начинает рассказывать про житье-бытье в те времена.

«Оленей пасли – никто не мешал.

Зверя добывали – никто не мешал.

Рыбу ловили – никто не мешал.

Зимой в Сургут-город на ярмарку ездили, пушнину туда возили.

Порох-дробь, муку-крупку, сукна-ткани на одежду покупали.

В городе в Божий Дом – так церковь называли – можно было сходить. Никто не запрещал – хочешь молись русскому Богу. Никто не запрещал – хочешь, вернувшись домой, молись в Священном Яру хантыйскому Богу. Никто не запрещал – хочешь, у своего очага молись домашним богам и богиням...

Если ты шаман, можешь взять бубен и шаманить – никто тебя не тронет.

Если ты князь-урт или из княжеского рода, можешь спокойно-но спать – никто тебя не арестует и в тюрьму не посадит.

Если у тебя есть земля и ты живешь на ней – никто тебя с насиженного места не сдвинет, никто твою землю и твой дом не разрушит» [8, 116].

Особенность многих произведений зрелого Е.Д. Айпина – их документальная основа, иногда даже нарочито подчеркнутая. Вопреки законам жанра писатель не боится ввести в художественный текст постраничную ссылку на архивный источник, на статистические данные, сухие примечания, в которых кратко упоминается последующая, реальная и нередко трагическая судьба литературного персонажа или рассказчика. Откуда это несвойственное для писателя тяготение к документальности?

Ответ дал известный литературный критик В. Огрызко в своем послесловии к книге Е.Д. Айпина «Клятвопреступник». В 1978 г. писатель побывал в д. Елизарово, где жило несколько участников Гражданской войны. Разговоры с жителями деревни опрокинули прежние официальные представления и послужили основой для написания одноименного рассказа. Но публикации «Клятвопреступника» писателю пришлось ждать до 1994 г. Сюжет рассказа основан на реальном событии: в деревне через шестьдесят лет после Гражданской войны стреляли в памятник комиссару [9, 426]. Эмоциональная подложка, которую испытал начинающий писатель, послужила отправной точкой его последующих размышлений о судьбах его народа и судьбах Большой России.

Надо отметить, что и в ранних, долгое время не публиковавшихся рассказах, Е.Д. Айпин не уходил от острых вопросов, волнующих хантыйский народ. Приведем несколько примеров. «Конец рода Лагермов» (1973-1975 гг.) – уголовник Беспалый убивает у главного героя охотника Маремьяна сына. «Во тьме» (1977 г.) – приезжие регулярно обкрадывают гостеприимного аганского охотника Ефрема и его жену, а затем

сжигают их дом. «Время дождей» (1977 г.) – на буровой некто, скорее всего, «заросший угрюмый помбур Митроха» надругался над коллектором Верой Тарлиной. Девушка гибнет. Ранее ее отец, возвращаясь на оленях из удачного промысла, попал «в автомобильную катастрофу»; ни ружья, ни пушнины возле трупа обнаружено не было... [9].

В этих рассказах русские, хотя и не все, выступают негодьями, а аборигены Севера их жертвами. Можно обвинять хантыйского писателя в предвзятости, а можно привести пример из воспоминаний ханты Л.Г. Тайлашева, много лет проработавшего секретарем Ханты-Мансийского окружкома КПСС: «Действительно, при открытии крупных месторождений были издержки – без них невозможно никакое освоение. Да, рубили просеки – отгоняли белку, медведя, но как иначе пройти геологам-геофизикам со своей аппаратурой, как составить карту? Тут уж или белку стрелять и оленей разводить, или нефть добывать! Я не осуждаю, потому что знаю, как трудно это совместить. Все равно, что по болоту пройти и не замочить ноги. Конечно, пришлый народ, да еще в поисковых партиях рабочими зачастую уголовников нанимали, беспорядку наделали. Раньше ханты, уходя из своих юрт на охоту, палочкой дверь подопрут и уходят на два-три месяца, а то и на четыре. Набрел в пути на такую деревню, погрейся, если замерз, да и иди дальше. Взять-то там нечего, единственно постель – олени шкуры лежат. Как только первые, еще геодезические отряды дошли до деревень хантыйских, стали эти шкуры воровать, утварь всю забирать, может, считали, что все брошено. В наших поселках всегда стояла девственная тишина, покой, а тут наезжают на танкетках, шум, гром, развернулся лихо, зацепил дом, отворотил угол – разорил ханты. Плохо, конечно».

Далее следуют отсылки партийного функционера к государственной необходимости в добыче недр Сибири [10, 320-321]. Неявно, но проводится мысль, характерная не только для советского периода: цель оправдывает средства. Происходит

подмена содержания. Величие преобразований камуфлирует «мелкие» частности, незначительные, вроде бы проблемы, а вместе с ними и жизнь маленького человека. Взамен вопроса о защите законных прав аборигенов преподносятся достижения в строительстве дорог и городов. Полагаю, что именно эти натяжки в официальной пропаганде в 70-е гг., эту фальшь, пока еще интуитивно, и почувствовал Е.Д. Айпин. Но, чтобы выйти на новый уровень осознания общественных проблем и максимально адекватно отобразить исторические реалии, то есть фактически начать создавать исторические источники, писатель должен был отказаться от господствующих тогда литературных традиций.

В своем становлении хантыйская литература испытала мощное влияние русской литературы. По мнению литературоведа Е.В. Косинцевой в 60-70-е гг. XX в. литература ханты выступала в роли ученика по отношению к русской литературе [11, 6]. Но и произведения русской литературы, посвященные межэтническим контактам, еще в первой половине XIX в., как показали в «Родной речи» П. Вайль и А. Генис, также испытывали воздействие, но уже со стороны западноевропейской культуры [12, 114-116]. Долгое время при описании аборигенов отечественная словесность шараялась от одного клишированного образа к другому. Перед читателями проходила череда благородных дикарей (дикарок), которые во взаимоотношениях с русскими культуртрегерерами выступают реципиентами культурных новаций. Они по-детски (а иногда и не по-детски – тогда в повествование привносятся эротические моменты) благодарны новоявленным пришельцам за их преобразовательские усилия.

Подобную литературу американский исследователь Севера Ю. Слэзкин охарактеризовал как Большое путешествие. Конечная цель этого путешествия была ясна – приобщение аборигенов к ценностям индустриальной (социалистической, фактически – русской) культуры. Он же показал, что затем тра-

фаретная идея Большого путешествия дала трещину. «В 1960-70-е гг., – замечает ученый, – многие молодые авторы и их молодые читатели были согласны, что пришло время предпринять Большое путешествие в обратном направлении» [13, 403]. Таким образом, для человека, размышляющего о судьбах северных народов, открылись возможности, пусть и ограниченные, реально отобразить их жизнь.

И Е.Д. Айпин эти возможности не упустил. Однако его путь к истине, к отображению подлинных жизненных реалий, имеющих ценность исторического источника, не стал от этого простым. Нельзя сказать, что он был совсем чужд сюжетов, привычных для отечественной литературы того времени. Так, по мнению В. Огрызко, рассказ «Зимовье в кедровнике» и драма «Красная нарта», хотя в их основе лежит невыдуманная история о спасении первого хантыйского филолога Николая Терешкина, получили «ярко выраженную идеологическую окраску» [8, 426].

Дело, впрочем, заключается не в идеологических пристрастиях. Почти карикатурно узнаваемые по предшествующим текстам, созданным другими литераторами, ходульные персонажи, жестко разделенные на «хороших» своих и «плохих» чужих (белых), лишены какого-либо житейского и исторического правдоподобия. Это, действительно, ученическая работа. В качестве исторического источника она, наверное, может быть интересна только теми коммунистическими штампами, которые присутствовали в сознании значительной части советских граждан относительно событий Гражданской войны.

Повесть «В ожидании первого снега» (1979 г.) также не лишена стереотипов. Хантыйский юноша, «поданный» автором практически без изъянов, решает, несмотря на возражения близких людей, отправиться работать на буровую. Его встречает пусть и не идеальный, но благожелательный трудолюбивый коллектив. Юноша передает буровикам бережное отношение к природе, они, взаимно, – секреты своего профессионального

мастерства. Герой влюбляется в русскую девушку, она отвечает ему взаимностью. Что может быть более клишированным, чем данный идеологически выдержанный и романтически окрашенный сюжет?

Но в этой благостной, почти бесконфликтной картине уже присутствуют несвойственные утвержденным стереотипам тревожные тона. Гибель природы, человеческие проблемы. Буровая бригада на трехдневном отдыхе на базе, после тяжелой девятидневной вахты, не знает, куда себя деть. Люди на отдыхе беспросветно пьют. Мудрый бурильщик и, по совместительству, секретарь парторганизации Алексей Иванович оказывается неудачником в семейной жизни и всё никак не может развестись с женой, чтобы окончательно уйти к любимой женщине, которая мотается с ним по Северам [14].

Тот, кто исследовал межэтнические контакты на Тюменском Севере, мог обратить внимание на поразительную схожесть взаимных оценок друг друга местных жителей и приезжих нефтедобытчиков. И те, и другие считали соседей «несчастливыми», неустроенными. Из-за чего? Из-за бытовых неудобств, тяжелого существования, пьянства. Взаимное отторжение препятствовало зарождению того социального симбиоза, который описан «В ожидании первого снега» и на который так надеялась официальная советская власть.

Несомненно, что приобретенный опыт на этот раз помог писателю избежать создания очередной литературной агитки. Известно, что Е.Д. Айпину доводилось работать на буровой. И здесь, переходя к широким историческим обобщениям, стоит заметить, что трудовые подвиги и повседневная, полная лишений жизнь геологов и нефтедобытчиков так и не получили полноценного адекватного отображения ни в исторической науке, ни в художественной литературе. Сложность и противоречивость, освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири до конца так и остались нами полностью не осознанными. Бодрые позитивистские и даже технократи-

ческие подходы (тонны, километры, рубли, даты, масштабы) заслонили обычного человека. Публикации о социальных проблемах, существовавших в тот период, до сих пор пребывают на периферии [15-16].

Почему же в отечественной культуре пока еще не нашлось художников слова, сопереживавших эпохе Большой нефти, сопоставимых своими талантами с даром Д. Лондона, описавшего Аляску, или Д.Н. Мамина-Сибиряка, воспевшего коллизии золотодобычи в Сибири? Пожалуй, одно из немногих ярких запоминающихся исключений – фильм А. Кончаловского «Сибиряда». Может быть, это связано с теми психическими травмами, которые перенесли и северные народы, и приезжие, устремившиеся за лучшей долей на Север? Смогли ли производственные успехи и материальные блага компенсировать их человеческие потери?

Особенность человеческой памяти заключается в её избирательности. Из прошлого мы стараемся брать в будущее и настоящее только лучшее, тот культурный багаж, который пригоден для дальнейшего существования. Но малочисленные коренные народы Севера в районах нефтедобычи были практически лишены возможности выбора. Их мнением никто и не интересовался. По милости «верхов» они выступали в роли пассивного, нередко страдающего объекта. И именно это обстоятельство оказалось неприемлемо для нравственной позиции Е.Д. Айпина. Его родители терпели, он, пусть и с опозданием, выступил против бесправия.

Рубежным произведением, систематизирующим претензии коренных жителей к власти, которые возникли еще до эпохи «Большой нефти», стал рассказ Айпина «Русский лекарь» из сборника «Клятвопреступник». Рассказ основан на истории, услышанной от Иосифа Александровича Сардакова. Он сопровождается авторскими ремарками о дальнейших нелегких судьбах упоминаемых конкретных людей. Главный герой этого произведения вообще не видит никакой пользы от проводимых

Советской властью мероприятий на Севере: ни от колхоза, ни от медпункта, ни от школ-интернатов. Герой рассказа вспоминает своего сына, принудительно направленного в поселковый интернат. Ребенок, насильно оторванный от родителей, на спор раздевшись и босиком пробежав от интерната до лисофермы, простыл и умер. Вывод безутешного отца максимально категоричен. Это самоубийство: «когда мой Старшенький потерял надежду на возвращение домой, в миг, когда сердечная тоска сжала все его нутро, он ступил на священный белый снег, который – это он знал с детства – ни в коем случае нельзя оскорблять голыми пятками» [9, 151].

«Когда меня первый раз забирали в интернат, – вспоминал как-то Айпин, – я буквально рыдал. Мы жили в юртах на берегу Агана, до ближайшего поселка Варьеган от нас было километров шестьдесят. Я не представлял, как смогу до зимы прожить без матери, отца и крестного. Говорить на родном языке нам в интернате не разрешали. Если у кого хоть слово невзначай вырвалось хантыйское, ребенка ставили в угол. Оленя мы видели только на картинках. Когда на каникулы я возвращался в наши юрты, то целую неделю вспоминал, как правильно ставить снасти. Кому от такой учебы польза была?» [8, 240-241].

В противовес этому утверждению можно привести еще один эмоциональный отрывок из воспоминаний Л.Г. Тайлашева. Последний, напротив, описывает жизнь коренных народов в целом оптимистично. Особенно яркие воспоминания он оставил о студенческой жизни: «В институте имени Герцена (сейчас это педагогический университет) было подготовительное отделение. Детей северных народностей: ханты, манси, коми, ненцы, эвены, эвенки, коряки, чукчи – привозили в Ленинград на подготовительное отделение, подтягивали, а потом они уже шли на первый курс. Так вот Юван Шесталов начал учиться с подготовительного. На первом курсе он уже писал стихи – талантливый парень! Стихотворение напишет, кто-то рядом переведет с подстрочником – обоим деньги. Куда их девать? Мы

же были на полном государственном обеспечении: нас обували, одевали, кормили и заставляли учиться! Были ребята из коренных национальностей, которые любили выпить. Сколько с ними возились! Он загулял – ему дают академический отпуск. Русского тут же исключали, а нашему брату академический отпуск! Год, второй он не является. Потом приезжает, идет на тот же курс. Сколько-то проучился, снова запил, ему снова академический отпуск <...>.

Сколько с нами советская власть возилась! Теперь плохая стала. А разве батюшка-царь или белые офицеры, князья-аристократы стали бы так пещься о Шесталове или обо мне, или о других? Да разве Шесталов стал бы поэтом без советской власти? А сейчас он, Райшев и другие ханты, которые вместе со мной при советской власти получили высшее образование, стали говорить: «Зачем забирать детей северных народностей в интернаты от родителей? Пусть дети на дому учатся, живут в семье, пасут оленей, сохраняют традиции, и не надо им этого общего образования!» И доброхоты русские за ними эту глупость повторяют. Но как «учить на дому» – в чуме, в юртах? Ясно, что это нереально, говорится только для того, чтобы посеять смуту. Я и сам учился в школе, родители были за восемьдесят километров, и ничего со мною не случилось, я не разучился ни охотиться, ни рыбачить. Зато вошел в современную жизнь» [10, 315-316].

Что объединяет эти, по существу антагонистичные позиции? Признание насильственности преобразований. Эти преобразования шли от государства, которое в условиях периодических форсированных модернизаций и по причине отсутствия гражданского общества в России мало интересовалось мнением своих подданных. Систематическое насаждение образования на местном уровне в России началось при Екатерине Великой. И государство в своих преобразовательных усилиях тогда сразу же столкнулось с сопротивлением традиционной и провинциальной среды. Потребовалось три четверти века, чтобы

население, по преимуществу русское, осознало выгодность получения образования. У малочисленных коренных народов Сибири этот процесс в XX в. шел много быстрее, с большей долей насилия и породил катастрофические сдвиги в их этническом сознании.

Необходимость в понимании того, что же произошло, приводит героев Е.Д. Айпина к мысли о том, что русские на Севере поголовно – колонизаторы. Отсюда и полемичное, «заостренное» начало «Русского лекаря»: «И среди русских есть достойные...» [9, 124]. Внятно в откровенной беседе с оленеводом её сформулировал именно «русский лекарь»: «да, мы, русские, самые обычные колонизаторы! Нам нужны не люди, не народы, а их земли. Нужны земли, земли и земли! Но что делать, как быть?! Весь мир прошел через это» [9, 162]. По мнению Сардакова, чтобы быстрее получить землю красные хотят отучить «охотиться, рыбачить и пасти оленей». Если оленевод станет жить в русском поселке и станет делать русскую работу, ему не будет нужна земля для охоты, рыбалки и разведения оленей [9, 162].

В романе «Ханты или Звезда Утренней Зари» (1990 г.) мысль о колонизаторах доведена до предела. Насильственная колонизация рассмотрена в общемировом контексте [17, 305]. При описании положения коренных народов почти нет художественного камуфляжа. Авторская позиция всё чаще выражается прямо, без отсылок к образам литературных героев. Нанизанные на привычный сквозной сюжет (совместная романтическая поездка охотника-ханты и русской девушки-врача) воспоминания формируют картину представлений аборигенов о мире, истории, самих себе, государстве и незваных пришельцах.

Картина эта безрадостна. Низкий уровень благосостояния местного населения, по сравнению с людьми, работающими на нефтепромыслах. Потемкинская деревня для внешних наблюдателей, не знакомых с истинным положением дел у север-

ных народов. Спаивание коренных жителей, как государством, так и приезжими. Писатель переосмысливает прошлое и настоящее, не выделяя между ними особых различий. Поэтому Кровавый Глаз (районный начальник НКВД), уничтожавший людей в прошлом, и Железный Глаз (большой нефтяной начальник), уничтожающий природу сейчас, по своей сути одинаковы. Они – оборотни. Они оба, по народным представлениям, противостоят живому миру, как людей, так и зверей [17, 164-177].

В «Ханты или Звезда Утренней Зари» сила народа скрыта, она проявляется подспудно, где-то на периферии: в работе, в лесу, за пределами родной земли, например, при участии в Великой Отечественной войне. Народ как бы дремлет, ожидая лучшей участи. Объективно, данная позиция, без предложения какого-либо выхода, ущербна. В следующем романе «Божья мать в кровавых снегах» (2002 г.) писатель попытался преодолеть прежнюю ограниченность. Произведение начинается лаконично, как сводка боевых действий: «Остяки терпели Советскую власть ровно семнадцать лет. Потом, когда совсем отчаялись, подняли восстание» [7, 5]. И в этот роман также включены архивные документы и свидетельства устной истории.

Однако не они составляют основное ядро «Божьей матери в кровавых снегах». Создавая масштабное эпическое произведение, писатель уходит от принципов реализма, множества бытовых частных и исторической достоверности. Фактически Е.Д. Айпин реконструирует мифический мир героев-богатырей. Их сила художественно гиперболизирована. «Угры – это воины-богатыри, не знавшие ни одного поражения в своей древней истории». «Даже самые многочисленные племена татар не рискнули идти дальше на угорские земли и остановились на границе лесов и степей». «Русские побили татар, но не остановились на этом, пошли дальше на север, на обских угров. Но, однако, не смогли одолеть их, не смогли взять их города-крепости. Долго бились, но все тщетно...». Только не-

достойная хитрость (веселящая вода в бочках) позволила русским одержать верх. Но и после победы, мудрый русский царь не вмешивался в дела остяков [7, 151-154].

Эта, отличная от подлинной истории, мифическая картина переносится автором и на события XX в. Напомним, что ранее в «Русском лекаре» главный герой, сильный физически, но униженный духовно и материально. Иосиф Сардаков жаловался, что войну красные вели «не справедливо», «без совести» [9, 134]. Да, жестокие войны XX в. отличались от ритуальных сражений богатырей. «Божья мать в кровавых снегах» идет много дальше «Русского лекаря». В романе происходит регенерация мифа. Здесь у народа-богатыря нет изъянов, есть только отдельные отступники. Космос романа составляет упорядоченный симбиоз множества персонажей. Люди, звери, духи, русские и угорские боги находятся здесь поблизости. Они всегда готовы прийти на помощь друг другу.

Только чрезвычайная жестокость способна на время сломать их единство. Казымский мятеж под пером Е.Д. Айпина приобретает черты тотального уничтожения, геноцида. Писатель в романе описывает некую полномасштабную войну с участием множества отрядов и с большим числом жертв с обеих сторон. Логика мифа требует от героев свершения запредельных подвигов, поэтому Мать Детей страдает не от обычных солдат, а от неких сверхъестественных существ. В романе ее дочь Анна и сын Роман погибают от «огненных камней», сброшенных с аэроплана. Но и это «огненно-каменное чудовище», олицетворяющее зло, должно быть повержено героиней. Мать Детей, все-таки, обязана уничтожить, и уничтожает его [7, 172-183].

Сама она, Сеня Малый и офицер-белогвардеец Белый никогда не будут уязвимы для красных карателей. Они выше обычных людей (близостью к царю, к Верхнему Миру). Эти персонажи, выступают как покровители и союзники северного народа. Как считают этнологи, такие образы особенно важ-

ны для слабых и притесняемых народов [18, 322]. Их образы, речь, поступки сакральны. Главная героиня уходит в Верхний Мир отнюдь не от пули красного карателя. Мать Детей стремится воссоединиться в Верхнем Мире со своими детьми. И там они нуждаются в ней, в матери. Противостоящие положительным героям фигуры красных, напротив, мелки, откровенно занижены, вплоть до животного уровня. Эти образы также лишены реализма, их поступки примитивны, а речь вульгарна. В романе Е.Д. Айпина красным, в отличие от ханты и белых, недоступен ни сакральный мир, ни мысли о величии России.

Так что же такое «Божья мать в кровавых снегах»? Антисоветский, националистический и антиисторический роман на историческую тематику? Допустимо ли такое утверждение? Для него есть резоны. Сотни представителей разных национальностей, и не только русских, ехали в советское время на Сибирский Север, чтобы честно работать, лечить, учить, строить, нести знания о новом быте, чтобы узнавать уникальную культуру коренного населения и самим учиться у него. Советский интернационализм, жертвенное многолетнее служение идеалам прогресса тогда не были пустым звуком. За привычной политической трескотней, о некоей идеальной дружбе между братскими народами в Советском Союзе, мы забыли о человеческих судьбах, о межэтнических браках, о совместном существовании, не обременённом какой-либо сегрегацией.

На этом пути были плюсы и минусы, было подвижничество, были жертвы, были невольные ошибки и откровенные преступления. Не опускаясь до разбора множества исторических натяжек и неточностей, присутствующих в произведении Е.Д. Айпина, можно ограничиться одним примером. Как известно, толчком к восстанию послужили события на священном озере Нумто. Ханты, недовольные появлением здесь посторонних, казнили прибывшую на переговоры группу Астраханцева (5 человек). В романе об этой трагедии упомянуто бегло, скороговоркой: «Группа пропала без вести. Позднее

выяснилось, что она вся погибла. Идея уничтожения остяцких богов принадлежала члену этой группы комиссарше Ш., представителю Уралобкома. Размахивая револьвером, постреливая по святыням, она поднялась на священный остров, куда никогда не ступала нога чужеземца. Так была осквернена главная, особо чтимая земля коренных жителей» [7, 61].

Полина Петровна (Пинхусовна) Шнейдер (1880-1933), выведенная под именем «комиссарши Ш.», была из известной семьи Ремпель, давшей нашему Отечеству несколько видных ученых. И сама она посвятила жизнь народному просвещению. Невозможность полноценной реализации образовательных проектов в царской России привела её в ряды революционного движения. После окончания Гражданской войны она была одним из руководителей народного образования в Крыму. На Урал Шнейдер переехала вынужденно. Её бывший муж, чью фамилию она продолжала носить, опасаясь репрессий большевиков, перебрался в Польшу. Переписку с эмигрантом партии поставили женщине в вину. Её родственники считали командировку на Тобольский Север из Свердловска продолжением наказания за отсутствие лояльности [19].

В воспоминаниях о Казымском восстании сообщается, что местные жители предупреждали Шнейдер об опасности агитационной поездки к аборигенам. Обстановка была накалена до предела еще до её приезда на Обский Север. Но и выбора у Шнейдер, по существу, не было: она не могла проехать многие сотни километров и вернуться ни с чем. Это было равно дезертирству. История сохранила слова мужественной женщины: «Я старый большевик и привыкла выполнять приказы партии до конца» [20, 150]. Видимо, Шнайдер, как могла, пыталась своим участием предотвратить кровопролитие. И – сама, будучи приезжей, не зная местной специфики, стала одним из поводов к кровавой драме.

Строки романа, равно как и сведения информантов, записанные десятилетия спустя, о якобы развязном поведении

Шнейдер, оскорбляющей чувства верующих, лишены исторической достоверности. Они созданы *post factum*, для оправдания последующих жестоких действий. Несомненно, что члены группы еще делали ставку на диалог – иначе поездка была бы лишена смысла. Они также отдавали себе отчет о возможных опасностях, но недооценили степень реальной угрозы. Вряд ли у группы Астраханцева было сознательное желание дополнительно обострять и без того непростую ситуацию, нарочитым оскорблением религиозных чувств.

Трагедия Шнейдер (в историческом контексте она типична) заключается в том, что люди, посвятившие свою жизнь быстрому переустройству общества, максимально уязвимы. Они не жалеют усилий для достижения высокой цели и сами становятся её жертвами. Если бы Полина Шнейдер выжила, то выбор жизненных путей, скорее всего, у неё остался бы невеликим. Она могла стать одним из палачей Казымского восстания, причины которого были много глубже, чем рыболовство на озере Нумто. Стороны конфликта и до, и после гибели группы Астраханцева не были намерены отступать. Аресты аборигенов уже шли, восстание уже готовилось [21, 56-57]. Она могла оказаться, в качестве неблагоданежной, в числе жертв Большого террора. Она могла побывать в обеих ролях. Так руководитель подавления Казымского восстания С. Чудновский был расстрелян в 1937 г. [22].

Историческая трансформация большевиков и отчасти их посмертных образов проходит по оси: герои – палачи – святые – грешники. Именно последний образ, более характерный для современной России, без критической оглядки на его предшественников, и зафиксирован в данном романе. Мнение, что принцип историзма «определил и стиль изложения, и концепцию произведения» Е.Д. Айпина [23, 56-57], вряд ли оправдано. В этом произведении писатель неоднократно грешит против исторической истины. Однако сводить «Божью мать в кровавых снегах» исключительно

к исторической фальшивке, субъективному отображению, фэнтези или триллеру (что было сделано в кинофильме по мотивам романа) также непродуктивно.

Сложность восприятия Казымского восстания заключена в несопоставимости масштабов трагедии для ханты и русских. Восстание русскими было практически не замечено. Оно не отложилось в народной памяти. Мятеж как бы «отсутствует» на верхнем национальном, и нижнем региональном уровнях. Официальная власть, после подавления восстания, и похорон группы Астраханцева предала событие если не запрету, то забвению. Причина здесь легко объяснима: восстание никак не укладывалось в концепцию советского интернационализма. Но и в низовой, неофициальной культуре оно также не было запечатлено. Нет преданий о сочувствии к восставшим, или, напротив, осуждения их жестокости.

Чтобы понять причины подобной «глухоты» достаточно беглого исторического анализа, отсутствующего в романе. Уничтожение церквей, культурные преобразования, индустриализация, коллективизация, когда десятки тысяч русских крестьянских семей были насильственно сосланы на гибельный для них Обский Север – эти и иные великие, «громкие» события заслонили собой Казым, где человеческие потери исчислялись «только» десятками жертв. Кроме того, восстание никак не затронуло местное русское население. Для последнего восстание не создавало угрозы, так как проходило в малоосвоенных, необжитых (с точки зрения русских) местах. И в подавлении восстания местные жители также почти не участвовали.

Однако трагедия остается трагедией, вне зависимости от того замечена она или нет. Для небольшого этноса, разбросанного по гигантскому малозаселенному пространству, любой контакт вынужденно аксиологически окрашен; он много ярче, чем для тех, кто живет на территории с высокой плотностью заселения. Точно также любая человеческая потеря, в родовых общинах воспринимается много острее, чем в индустриальной

культуре. Массовые репрессии против наиболее уважаемой части этноса, его элиты, надолго остаются в социальной памяти. Заслуга Е.Д. Айпина не в том, что он предельно точно воссоздал в романе события 1933-1934 гг. Это отнюдь не так. Более того, художественный вымысел здесь достаточно часто противостоит историческим реалиям (участие белого офицера в восстании, преувеличенное число жертв, подчеркивание кровожадности красных, роль авиации и т.д.).

«Божья мать в кровавых снегах» отображает не столько некогда бывшие события, сколько их образ и оценку, сохранившиеся в аборигенной среде. Они, несмотря на усилия официальной пропаганды, так и не канули в небытие. И были, в целом аутентично и системно переданы классиком хантыйской литературы. Соответственно, наивные или кровожадные черты красных, присутствующие в романе, воспроизводят не конкретных лиц и даже не обобщенные типы, характерные для того исторического периода. Это мифические образы палачей, представленные глазами их жертв.

Из законов мифа проистекает и наивность в создании противоположного им положительного образа монарха. «Описывая русского царя, – обоснованно замечают литературоведы Е.В. Косинцева и Н.В. Куренкова – автор создает ореол величия. За этим ореолом не видно человека» [22, 28]. Миф, по преимуществу, однозначен. Психологическая глубина здесь могла только повредить. Достаточно вспомнить еще одного положительного персонажа – офицера Белого. Его почти иконописный образ никак не отнесешь к числу авторских удач данного романа [22, 69]. Этот образ находится вне обско-угорской традиционной культуры. Он является плодом исключительно авторской рефлексии.

Да, миф, с точки зрения европейской рациональности, всегда наивен. Но без знания своего мифического массива любой социум обречен на распад. Данное положение касается и этносов. Длительность исторического существования этноса на-

стоятельно требует выработки собственной оценки пройденного пути, причем отличной от позиции соседей. Для этого, конечно же, необходим соответствующий инструментарий. И он не может быть произвольно выбран. Миф инструментален настолько, насколько он отвечает чаяниям и запросам конкретного социума. Миф не может быть создан на пустом месте. В миф нужно верить. И воспроизведение мифа (в том числе в литературном произведении) далеко не всем под силу.

Сила и слабость Айпина заключаются в том, что он возвращает своим сородичам мифы, нужные им сегодня. Ведь прежний мифический массив обских угров уже перестал полноценно функционировать. Старые духи, боги, богатыри, были пригодны для традиционной культуры. В условиях современного индустриального общества они востребованы все меньше. Мифы миниатюризируются, перевоплощаясь в сказки. Они не могут объяснить представителю малочисленного этноса, как жить и как чувствовать себя в большой, но дезориентированной и разобщенной стране. Традиционные мифы не способны, в большинстве случаев, обеспечить человеку психологический комфорт. Но и расщепленность этнического сознания не может продолжаться бесконечно долго.

Литературное творчество Е.Д. Айпина это, по сути, попытка с помощью слова, художественными средствами помочь своему народу преодолеть чувство этнической неполноценности. С точки зрения этнической психологии, в его книге содержатся такие компоненты, которые можно охарактеризовать как этноопределители. «Значение этноопределителей может меняться с изменением исторической ситуации – замечает Т.Г. Стефаненко, – например, запрет или вытеснение на периферию властными структурами, способствует их актуализации [24, 246]. Данное утверждение в полной мере применимо к Казыму. Первоначальное замалчивание «неудобного» трагического события, со временем, породило к нему обостренный интерес. Отношение к восстанию стало одним из факторов консолида-

ции этноса. Нечто подобное, например, в свое время, произошло у сербов. Так, поражение на Косовом поле вошло в сербское самосознание, стало частью этнической идентичности.

Кем же тогда выступает Е.Д. Айпин? Каковы истоки самосознания хантыйского писателя? Ответы на эти вопросы предлагает литературовед О.К. Лагунова. «Творчество художниками мыслится как процесс и акт собственной посвященности в тайну силы и бессмертия народа, типологически сходный с культурой шаманства, но имеющий собственную традицию, инструментарий и технику» – считает исследовательница [3, 38]. Она же вскрывает социальные и культурные причины появления данного феномена в советское время: «Идеологическая доктрина страны предписывала административной машине физическую и духовную поддержку художников из малочисленных народов, идейные просчеты и отклонения могли толковаться как трудности роста инационального сознания». Оказалось, что «большая» советская литература по многим параметрам была близка этническому самосознанию коренных народов Севера.

В качестве своеобразного мифического массива эта литература «содержала удобную для освоения и трансляции схему, практически совпадающую с выделяемым специалистами набором этнических констант. Она предусматривала, предустанавливала носителя добра (это свой народ и автор как его полноправный представитель), носителя зла (образ чужого, врага), а также обязательность и неизбежность победы добра над злом с примерным перечнем путей достижения победы. Так как сознание мастеров слова младописьменных литератур Севера ориентировано на традиционную культуру, данная схематизация была для них удобна, понятна, она проверялась опытом дописьменной культуры народа, потому не отторгалась и принималась» [3, 15].

О.К. Лагунова акцентирует внимание на том, что реальности «жизни самих художников (а именно искусственное изъ-

тие из среды своего народа – интернатская жизнь, армейская служба, обучение в вузе – и почти автоматическое представительство от него в иной среде с неизбежной задачей защиты в этой среде образа народа) подводили их к пониманию идеи активности, действенности позиции автора и героя. Автор (и герой), руководствуясь утверждением правильного выбора, твердостью и последовательностью своей позиции, вплоть до самопожертвования, должен был изменять и преобразовывать обстоятельства, чтобы сохранить в них этнокультурную идентичность». [3, 15-16]. Цивилизующая роль советской власти при этом заключалась в поддержке и стимуляции творческой деятельности в мастерах слова. Происходило постоянное акцентирование внимания на сознании и самосознании художника, его долге перед своим народом, связи этики и эстетики, необходимости высокого мобилизующего слова для практики народной жизни, на вере в прогрессе и динамичность жизни, которая если организована неправильно, то может и будет в перспективе изменена, преобразована на справедливых началах [3, 16].

Старая мифическая картина мира, сохраненная северными народами, здесь накладывалась на новые советские мифы. В этой системе национальный писатель выступал в качестве официального посредника, наделенного рядом ритуальных, почти шаманских функций. Но такая форма взаимоотношений не вполне соответствовала их содержанию. Причина: отсутствие обратной связи. Подлинные чаяния народа если и доходили к «верхам», то в сильно усеченном виде. Соответственно, соседство традиционализма с прогрессом было в основном декларативным, вынужденным, неестественным и временным. Начало кризиса советской государственности совпало с ростом этнического самосознания и поисками иных путей.

«Итак, когда в 1960-е и 1970-е новое поколение северных поэтов учителей и библиотекарей прибыло в центральные и областные столицы, они застали «мир будущего» в состоянии

смущения и цинизма. Как все новые элиты, вырвавшиеся из «мира прошлого», они должны были определить свою позицию по отношению к новым собратьям (в данном случае к русской интеллигенции) и старым собратьям («народу») – задача тем более неотложная, что от официального союза интеллигенции и народа мало что осталось. Некоторые предпочли остаться «западниками», т.е. считали, что национальная элита должна быть равной элите господствующей и что народ должен постепенно, с помощью образования, присоединиться к клубу избранных; но всё больше интеллигентов из числа коренных народов пыталось сформировать особую «пансеверную» идентичность, строившуюся на противопоставлении России» – ядовито резюмирует Ю. Слёзкин [13, 409].

Поиск альтернатив усилил степень авторской свободы. Возможности собственного художественного отображения мира прошлого, подталкивали писателей к реконструкции старых и генерированию новых мифов. После развала СССР данная тенденция стала господствующей. Множество литераторов приобщилось к магическим ритуалам, жестам, заклинаниям и чудодейственным обещаниям в политической сфере. Осознание необходимости профессионализма и трезвости в политике пришло много позднее. До сих пор шаманские, донельзя политизированные, заклинания отечественных писателей по разные стороны баррикад нередко заменяют у них вдумчивую работу над литературным текстом...

Еремей Данилович Айпин как большой мастер художественного слова, порвав с прежними традициями, стал новатором в литературе, чтобы отобразить мифическую картину мира своего народа и даже поверить в нее. Парадоксальность здесь присутствует не только у писателя – парадоксальна наша отечественная история. Не случайно, что демограф А.Г. Вишневский емко охарактеризовал гигантские советские преобразования как «консервативную модернизацию» [25]. Поэтому для продвижения в будущее россиянам оказывается необхо-

дим постоянно радикально менять собственное отношение к прошлому.

Процесс осмысления и переосмысления нашей истории у маститого хантыйского писателя и общественного деятеля также далеко не завершен. Так, в одном из своих интервью он заявил: «Что ждать югорчанам от Айпина-писателя, спрашиваете? Для меня это важный вопрос. Рабочий вариант названия нового романа «Жизнь на первой Земле». По мифам ханты и манси, во время всемирного потопа птица-Утка достала со дна океана клочок земли. Он дал жизнь сначала югорским холмам, а затем – всему остальному. Поэтому первая Земля – это наш округ». По словам писателя, роман охватывает период истории от перестройки до наших дней [26].

Заметим, что и ранее Е.Д. Айпин не ограничивался только хантыйской проблематикой. В своих произведениях он ставил вопросы о судьбе России в целом, искал точки соприкосновения с другими культурами, в том числе и русской. Его вклад в российскую культуру нельзя недооценивать. Нужно учесть, что, в ряде случаев, северные народы сохранили те компоненты русской культуры, которые большинством русских уже утрачены. Это элементы одежды, имена, побывальщины, частушки. Так, например, в коротенькой новелле «Продавец Кондаков» (с характерным для Е.Д. Айпина подзаголовком «Рассказ Ивана Степановича Сопочина») приемщица рыбы, развеселая пьяньенькая Маша поет частушку:

*Продавец Кондаков,
Пол-литра дай-дай-дай!
Продавец Кондаков,
Кунка дам-дам-дам! [6, 203].*

Как тут не вспомнить близкую русскую пословицу: «Кунка не чугунок, край не отломится!»

Творчество писателя многогранно. Его тексты несут информацию не только для досужих читателей и профессиональных литературоведов. Здесь также есть поле деятельности для

специалистов по этнической истории или исследователей истории общественного сознания. Надо отметить, что такая работа уже началась. Эстонец Арт Леэте в книге «Казымская война» многократно цитирует Е.Д. Айпина, споря и соглашаясь с хантыйским писателем, как с историческим информантом [20]. Как выделить исторически значимую информацию и «отсечь», не востребованный историками, произвольный авторский вымысел? Только при рассмотрении исторической динамики и структуры авторского текста.

По мнению Ю.Л. Троицкого, схватить «события в возможной полноте» целесообразно с использованием репрезентирующих экранов (рис. 1). Данная модель позволяет структурировать информацию по тем целям, которые преследуются информантом. Так для экрана «миф» характерно стремление к узнаваемости. На экране «описание» присутствует стремление к полноте и исчерпанности. Экран «исследование», напротив, тяготеет к непротиворечивости. И, наконец, для экрана «фальсификация» характерна убедительность [26, 33-34].

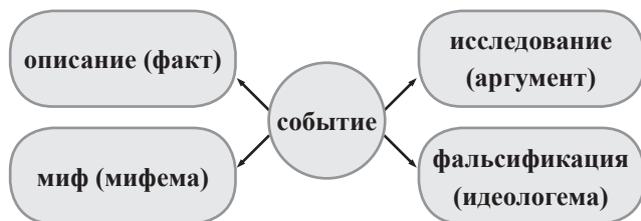


Рис. 1. Репрезентирующие экраны (по Ю.Л. Троицкому).

При проекции на данные экраны творчества Е.Д. Айпина нетрудно убедиться, что в разные периоды своей жизни писатель был предрасположен к неодинаковым способам репрезентации информации. Его ранние работы находились преимущественно в рамках советской мифологии, разбавленной национальным колоритом. Но обращение к

фактам спровоцировало круговое движение «по часовой стрелке» от экрана к экрану и рост писательского мастерства. В этом движении исторические факты и их интерпретации, этнографические подробности и фольклор, судьбы конкретных людей и политическая публицистика плавно перетекают друг в друга. Они проходят через душу писателя и меняют наше общественное сознание. Несомненно, что история советского тоталитаризма может быть лучше понята не только благодаря анализу исторических фактов, но и через призму народной памяти.

Литература

1. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990. 366 с.
2. Миляхова Л.П. Роман Еремея Айпина «Ханты или Звезда Утренней Зари»: генезис, образный строй, контекст, поэтика. Автореф. дисс... к.ф. н. СПб., 2008. 195 с.
3. Лагунова О.К. Феномен Творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов в последней трети XX века (Е. Айпин, Ю. Вэлла, А. Некраги) Автореф. дисс ... д. ф. н. СПб., 2008. 42 с.
4. Кадыров Ш.Х. и др. Матрица этнологии. Очерки о теории и методологии. М., 2012. 112 с.
5. Айпин Е.Д. В тени старого кедра. Рассказы на хантыйском и русском языках. Свердловск, 1981. 96 с.
6. Айпин Е. Река-в-Январе. Сборник рассказов. СПб., 2007. 208 с.
7. Айпин Е. Божья Матерь в кровавых снегах. Екатеринбург, 2002. 304 с.
8. Айпин Е.Д. У гаснущего очага: Повесть в рассказах о верованиях, обычаях и преданиях народа ханты (остяков) Обского Севера. Екатеринбург, 1998. 256 с.

9. Айпин Е.Д. Клятвопреступник. Избранное: Роман и рассказы / Послесл. и комм. В. Огрызко. М., 1994. 430 с.
10. «Благодарю судьбу за то, что учился в Ленинграде» // Подорожник: Краеведческий альманах. Вып. 6. Тюмень, 2005. С. 303-322.
11. Косинцева Е.В. Хантыйская литература от истоков до современности: темы, образы, традиции. Автореф. дисс... д. ф. н. Саранск, 2013. 42 с.
12. Вайль П., Генис А. Собр. соч. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2004. 960 с.
13. Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008. 512 с.
14. Айпин Е.Д. В ожидании первого снега. Повести. Свердловск, 1979. 144 с.
15. Петрова М. Амнистия-53 // Югорское время. Югорск., 2013. №44 (672).
16. Петрова М. Опасно быть геологом // Югорское время (г. Югорск). 2013. №46 (674), №47 (675).
17. Айпин Е.Д. Ханты или Звезда Утренней Зари: Роман / Предисл. С. Залыгина. М., 1990. 334 с.
18. Налчаджян А.А. Этнопсихология. 2-е изд. СПб., 2004. 381 с.
19. rempel: Полина Петровна Ремпель // Электронный доступ: URL: <http://www.rempel: rempel.livejournal.com>. Дата обращения: 20.01.2014.
20. Леэте А. Казымская война: восстание хантов и лесных ненцев против Советской власти. Тарту, 2004. 286 с.
21. Ерныхова О.Д. Казымский мятеж (Об истории Казымского восстания 1933-1934 гг.). Новосибирск, 2003. 157 с.
22. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898-1991 // Электронный доступ: URL: <http://www. knowbysight.info/BBB/01616.asp>. Дата обращения: 21.01.2014.

23. Косинцева Е.В., Куренкова Н.В. «Все в этом мире от Бога...»: роман Е.Д. Айпина «Божья мать в кровавых снегах». Ханты-Мансийск, 2010. 143 с.
24. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – 4-е изд., испр. и доп. М., 2008. 368 с.
25. Вишне夫斯基 А.Г. Серп и Рубль: Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. 433 с.
26. Айпин Е. Всё бы хорошо, но... // Новости Югры. 2014. №4, от 16 января.
27. Троицкий Ю.Л. Историческое событие: стратегии понимания и способы репрезентации // Литература Урала: история и современность: сб. ст. Вып. 7: Литература и история – грани единого (к проблематике междисциплинарных связей): в 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2013. С. 30-35.

3.2. Контрфактическое моделирование и исторические реалии

Одной из особенностей современной культуры стал всплеск фэнтези, в том числе и таких, где герои к перемещаются в прошлое. Интерес к подобным «перемещениям» привел к появлению множества литературных произведений, художественных фильмов, специализированных сайтов. В среде любителей этих жанров даже появился свой неблагозвучный термин о путешественнике во времени: «попаданец». В итоге фантазийные произведения оказались как неформальными способами познания прошлого, так и генерацией очередных исторических мифов. Одновременно с ними в исторических дисциплинах появилось такое новое нестандартное научное направление как контрфактическое моделирование. Основателем его считается историк и нобелевский лауреат Р. Фогель [1]. Востребованность обществом альтернативных сценариев заставляет историков определить к ним свое отношение.

Соответственно, цель настоящего раздела заключается в поиске точек соприкосновения исторической науки и неформальных точек зрения на исторический процесс. Данный поиск имеет не только академический интерес, но и прагматические основания. Так, например, преподавателю, чтобы нести научные знания подрастающему поколению, сегодня уже мало знать историю. Этого недостаточно. Ему необходимо учитывать интересы молодежной аудитории, быть, как теперь принято иронично говорить «в теме». Сегодня многие из изучающих историю пытаются найти в прошлом не столько общие закономерности, сколько ответы на конкретные «личные» вопросы: «а как бы ты поступил в том или ином случае?». Если обывателю достаточно прочитать завлекательную книжку, то историку, в его профессиональных размышлениях, необходимы хотя бы минимальные методические обоснования. Как будет показано

ниже, многие из них вполне допустимо обнаружить на стыке исторической психологии и художественной литературы.

В конце своей жизни советский писатель Вс. Иванов работал над рассказом «Генералиссимус». К сожалению, это, может быть, самое значительное его произведение не было закончено. Остались только черновые наброски [2, 636-679]. Фабула рассказа в общем-то проста. Весной 1945 г. в Березове больничный сторож находит гроб с сохранившимся телом сподвижника Петра Великого Александра Даниловича Меншикова. Более 200 лет назад участник дворцовых переворотов и опальный царедворец был сослан сюда, на Север Сибири, где и умер. Эвакуированный врач Гасанов, специализирующийся на переливании крови, оживляет умершего. Затем герои повести направляются в Москву: сначала по Оби, до железной дороги, далее – поездом. Их селят в гостинице. Короткая встреча со Сталиным происходит на многолюдном приеме в Кремле. Курирует врача и его пациента некто полковник Порскун, дающий «наверх» неблагоприятные отзывы о своих подопечных. Далее, судя по отрывочным наброскам рассказа, Меншиков попал в немилость и покончил с собой.

Стоит ли говорить о том, что этот рассказ никак не относится к историческим источникам об А.Д. Меншикове или жизни Березова на завершающем этапе Великой Отечественной войны? Вс. Иванов никогда здесь и не бывал. О далеком северном поселении он располагал только общеизвестными историческими сведениями. Конкретная географическая привязка и конкретная историческая личность потребовались писателю в качестве отправной точки, чтобы начать анализ общественной психологии периода позднего сталинизма. В своем исследовании Вс. Иванов идет много далее А. Дюма, для которого история стала всего лишь «гвоздем», на который он вешал свои картины. Маститый советский писатель, почти классик, был вхож в высшие управленческие круги, знал царившую там

обстановку. Он умел приспособливаться, но сохранял критический настрой и никогда не был ортодоксальным сталинистом.

Фактически в рассказе Иванова происходит удвоение Сталина. Меншиков оказывается своеобразным alter ego, двойником советского диктатора. Оба они носят звание генералиссимуса, вот только Меншиков превосходит вождя. Он первый обладатель этого звания, а Сталин – последний. Меншиков покаяться и закончил свой земной путь. Царедворца забыли и его душа успокоилась. Сталин, напротив, жив и ему придется оставаться в общественном сознании еще долго и после собственной смерти... Оба находятся в числе победителей, оба в годы войны не жалели людских, даже детских жизней. Не случайна мысль доктора о воскресшем Меншикове: «Этот страшней Петра».

Сталин недоволен внезапным, незапланированным появлением петровского фаворита. За внешней невозмутимостью вождя скрывается его раздражение: «Что это? Зачем? Что за намек? Разрешение говорить об истории не значит воскрешать её» [2, 657]. Сталинская лаконичность, внешняя четкость, наряду с одновременной скрытой двусмысленностью подобного умозаключения, очевидны. Слово «история» имеет два значения: то, что было, и наука, которая объясняет прошлое. Получается, что Сталин противник истории в обоих значениях. Для вождя Меншиков интересен только как элемент антуража, чтобы придать дополнительный блеск собственному величию. На приеме бывший покойник выполняет точно такую же роль, какая отведена второстепенному персонажу рассказа князьку-эмигранту, вернувшемуся на Родину. Он получил мундир, необременительную должность и возможность публиковаться. Этот герой явно списан с автора воспоминаний «Пятьдесят лет в строю» реэмигранта генерала Игнатьева [3].

Воскресший покойник-генералиссимус неудобен вождю. Неизвестно, что с ним делать. Кроме того, сподвижник Петра служит напоминанием для Сталина о конечности его собствен-

ной жизни, о возможности использования и его образа в каких-то чуждых ему интересах. «Не желал бы я, чтобы меня воскресили вроде вас», – думает о Меншикове Сталин. И, самое главное, бывший покойник не оправдывает возлагавшихся на него надежд. У него нет пиетета перед сталинскими свершениями. «Взгляд Меншикова на русскую действительность как предельно мало изменившуюся (за вычетом замеченного им улучшения вкуса водки, что вводит в рассказ ироническую струю) служит выражением авторского взгляда на неизменность некоторых существенных сторон русской истории», – так комментирует Вячеслав Иванов творческий замысел своего отца [2, 729].

Недовольство Сталина отнюдь не спонтанно. Вождь пользуется информацией полковника Порскуна. Этот представитель спецслужб мыслит максимально трезво и не заблуждается относительно личности Александра Дмитриевича. Для полковника Меншиков вовсе не герой. Он, размышляет Порсун, «в сущности – преступник», его «военные заслуги – раздуты», он – бывший хозяин ста тысяч душ крепостных рабов. Генералиссимус XVIII в., с его опытом интриг может представлять возможную угрозу и для главы советского государства. «Мертвец-то он мертвец, но себе на уме», – очень быстро делает вывод полковник. Характерно, что Меншиков также достаточно быстро разобрался в личности Порскуна. Ведь на старорусском языке слово «порсун» означало облавщик, загонщик.

Двойственность в мыслях куратора опять-таки ненавязчиво подводит читателя к сравнительному анализу личностей двух отечественных государственных деятелей. Писатель выявляет неожиданные аналогии в их судьбах и – заставляет нас думать. Может быть, самые интересные страницы рассказа – это те, на которых раскрывается характер петровского вельможи. Его психологический портрет максимально убедителен, в нем нет ничего от лубка, созданного А. Толстым, или идущим вслед за классиком отечественным кинематографом. Писатель смог

преодолеть и те клишированные моменты в описаниях путешественников во времени, которые присутствуют в мировой культуре, начиная с книги М. Твена «Янки при дворе короля Артура» (1889 г.). Вс. Иванову интересен не наивный восторг дикаря перед техникой, а возможные размышления человека, много повидавшего в жизни и покинувшего эту жизнь, о русских и о России.

Меншиков, созданный талантом Вс. Иванова, это, прежде всего, человек, обладающий опытом реального руководства. Такой человек и в неожиданных, «нештатных» ситуациях не теряет головы. Меншиков Иванова отнюдь не шут, в его характере нет придурковатости. Он постоянно «застегнут на все пуговицы», умеет думать, молчалив, знает цену своим словам. Его редкие суждения весомы и убедительны. Благодаря авторскому приему нам доступны некоторые из скрытых мыслей старого полковника. Он не обольщается собственной значимостью, но не идеализирует и советских людей: «они крайне самоуверенны, – и о чем они будут советоваться с человеком, который жил свыше 200 лет назад? Они уверенно распоряжаются не только прошлым или настоящим, но и будущим!»

В рассказе Сталин оказывается даже не столько продолжателем дела Петра Великого, сколько порядков, существовавших в Московской Руси. Так, на приеме в Кремле присутствуют делегаты съезда православных священнослужителей из стран, освобожденных от фашизма. «Посмотри-ка, А.Д., на эту могучую Русь, если к ее атеистическому Генералиссимусу, по первому его мановению, сбежались попы из всех краев? Разве не красиво?» – слышим мы внутренний монолог старого политика петровской и послепетровской эпохи [2, 656]. Деликатная ситуация работы Церкви по укреплению атеистического режима доведена Вс. Ивановым до логического абсурда. Съехавшиеся в Москву церковные иерархи при встрече с воскресшим покойником просто обязаны задать себе ряд вопросов: если у

человека есть душа, то где она находилась последние 200 лет у А.Д. Меншикова? В аду?

Ирония истории заключается еще и в том, что в преданиях обских угров также есть рассказ о воскресшем жителе Березовского края, который стал известен Сталину. С неуязвимым шаманом Миколой ничего не могли поделаться сотрудники НКВД. Даже убитый и похороненный шаман, все-таки оживал. «Сталину позвонили, что такой шаман есть. Сталин говорит: «Таких хитрых людей нам убивать нельзя, наоборот, таких людей нужно собрать, они нам пригодятся». (Дело-то перед войной было)» [4]. Нет оснований думать, что столичный писатель знал эту легенду. Здесь важнее иное. Существовало массовое убеждение, что в годы суровых испытаний власть должна обратиться к неким волшебным помощникам или посредникам, к людям, обладающим сверхъестественными способностями.

Интересно, что Вс. Ивановым подобные верования не только зафиксированы, но и радикально переосмыслены. Воскресший чудесным образом (но благодаря науке!) Меншиков бесполезен для своего Отечества, а для сталинского режима он даже потенциально опасен. В «Генералиссимусе» Меншиков, даже если бы и захотел, уже ничем не может помочь победоносной Красной армии. В апреле 1945 года он просто статист. Но нужен ли тогда и последний генералиссимус – Сталин? Данный рассказ отображает как общественное сознание периода позднего Сталина, так и общественное сознание, радикально изменившееся уже после смерти вождя. Он создавался в те годы, когда существовала постоянная угроза реабилитации умершего диктатора. «Генералиссимус» – своеобразное предупреждение: ведь если можно вернуть к жизни давно умершего Меншикова, то еще легче, пусть и в ином облики, вернуть недавнего Сталина и, соответственно, сталинизм.

Еще одним достоинством рассказа является реконструкция мифической веры во всемогущество советской науки и акцентирование внимания на том неочевидном выводе, что идеа-

лизированное идеологически выдержанное знание в СССР неизбежно смыкалось с религиозными представлениями. Сталин как вождь оказывался принципиально схож не только с «громким» сподвижником Петра I, но и с безвестным для Вс. Иванова шаманом из северной тайги. За поворотом Сталина к великодержавности и консерватизму на завершающем этапе войны неизбежно следовало воскрешение неотрадиционализма и неоархаики, вплоть до регенерации латентного язычества. Именно это движение и символизирует неожиданно оживленный по воле писателя А.Д. Меншиков.

Вс. Иванов не единственный литератор, избравший такой достаточно выигрышный ракурс для наблюдения за прошлым и настоящим. И другие значимые писатели также нередко становятся несерьезными, «грешат», сталкивая между собой исторических личностей из разных эпох. В рассказе Т.Н. Толстой «Сюжет» (1991 г.) случайно на дуэли гибнет не А.С. Пушкин, а его противник Дантес. Тяжело раненый поэт доживает до преклонных лет, но почти ничего не пишет. Под конец своей жизни он отправляется в Симбирск – посмотреть редкие документы для завершения своей «Истории Пугачева». На улице этого поволжского городка происходит столкновение приезжего арапа и мальчишки с «калмыцкими глазами». Снежок-ледышка, брошенный дерзким мальчишкой, разбивает дряхлому Пушкину затылок. Но и юный Володя Ульянов, отведав ударов клюкой по голове и переболев, становится не противником государственной власти, а её яростным защитником. Он быстро делает карьеру и дослуживается в царской России до должности министра внутренних дел, а после его смерти этот пост должен быть передан некоему Джугашвили... [5, 318-334].

В своем рассказе Т.Н. Толстая не претендует даже на внешнюю иллюзию исторической достоверности. Созданные ею образы откровенно карикатурны, они нарочито небрежно сконструированы из привычных литературных клише. Но те, вымышленные писательницей события, что не могли никогда

состояться, вдруг заставляют нас в чем-то по-новому взглянуть на уже произошедшее. Получается, что агрессивный неразумный молодой Ленин уничтожает престарелого Пушкина. Но ведь именно такое действие – уничтожение дворянской культуры – и произошло после 1917 г. Просто в рассказе писательницы оно художественно переосмыслено и подано образными средствами. Данное произведение ставит и ряд принципиальных вопросов. Насколько далеко мог уйти А.С. Пушкин в отказе от революционной романтики своей молодости? Какова роль случайностей в истории? Какова положительная роль насилия в истории и педагогике?

Похожие проблемы проанализированы в рассказе М. Веллера «Трибунал» [6, 133-144]. В Зимнем дворце, под негласным надзором царя Николая I, проигравших декабристов судят А.М. Горький, С.М. Буденный и Г.К. Жуков. Председательствует на этом сатирическом суде Г.К. Жуков, начисто лишенный сентиментальности. И его приговоры восставшим много суровей, чем они были в исторической реальности. Характерно, что тройка судей здесь объединена верой в результативность насилия и пренебрежением к человеческой жизни. Судьи не просто являются послушными исполнителями, они уверены в правоте своих поступков. Перенесение жестоких советских нравов на первую половину XIX в. создает не просто комический эффект, но и служит своеобразным инструментом познания прошлого.

Жуков как профессиональный военный задает мятежному офицеру Бестужеву-Рюмину конкретные вопросы. Но внятных ответов от заговорщика о причинах пассивности на Сенатской площади он не получает. Недвусмысленное отношение советского маршала выражено в приговоре, который он с ходу диктует: «За отсутствие плана операции... За необеспечение материального снабжения операции... За полное отсутствие управления войсками в бою, повлекшее срыв операции и уничтожение противником вверенных частей... За полное служебное несоответствие званию и занимаемой должности... Твою

мать, да тебя нужно было повесить до того, заранее, глядишь чего бы и вышло». Налицо образное соприкосновение штампов дворянского сентиментализма с жесткими, почти железными социалистическими реалиями. Причем это не умозрительные споры книжных литературоведов, а столкновение противоположных типичных сценариев жизненного поведения, культурных стереотипов.

В этом коротком рассказе, как и в «Генералиссимусе», также происходит своеобразное удвоение персонажей. Иронично поданные стереотипные Жуков, Буденный и Горький, как и все советские люди, должны противостоять поверженному царизму и, вроде бы, даже где-то сочувствуют декабристскому восстанию. Они же, одновременно, находятся на службе у душителя свободы Николая Первого, во многом похожего на Сталина. Такие подмены лиц и эпох есть не только литературная дань модному постмодернизму.

Рассказ противостоит примитивному историческому сознанию недавно ушедшей от нас эпохи, когда каждый подросток не только знал об ошибках декабристов, судил их, но и не стеснялся на школьных уроках озвучивать «правильные» рецепты. В принципе М. Веллер не исследует поведение конкретных декабристов (Бестужева-Рюмина 14 декабря в столице не было, да и Рылеев по-иному вел себя на допросах). Ему важно иное: разоблачение «хрестоматийных» образов революционеров и сравнение поведения людей в условиях войны или государственного переворота. Почему одни останавливаются перед массовым кровопусканием, а у других сдерживающие механизмы отсутствуют? Кто же из политиков будет реально хуже?

Хронологический релятивизм автора рассказа, его игра вне правил, позволяют полнее показать равнодушному читателю, как стремление к свободе способно обернуться палачеством и деспотизмом, интернационализм – имперским величием, личная храбрость и идеалы гуманизма – сервильным и откровенным пресмыкательством перед властью. «Трибунал»

также оказывается художественным способом снятия позднейших мифических напластований на события 14 декабря, средством критически рассмотреть сходство и различие в удаленных во времени значимых событиях и исторических лиц. Уточним, что параллельно профессиональными историками был осуществлен анализ обстоятельств создания мифа о якобы негибавших декабристах [7; 8, 237-256].

Насколько корректно и научно совмещение разновременных исторических игроков, да еще представленных в художественных текстах? И какова познавательная значимость подобной мыслительной операции? «Сравнение событий, биографий, исторических процессов принадлежит, конечно, к фундаментальным эвристическим процедурам, так как приводит к порождению новых смыслов, которых не было в сопоставляемых феноменах в отдельности», – замечает Ю.Л. Троицкий в статье «Историческая компаративистика: эпистемология и дискурс». «Вероятно, приращение смысла происходит потому – считает исследователь, – что благодаря сопоставлению возникает новый контекст понимания за счет коннотативного шлейфа, который несут сравниваемые события и явления» [9, 32].

Помимо компаративистики в исторической науке бурно развиваются и иные методы, в том числе изучение альтернативной истории. Несмотря на тривиальное утверждение, что «история не знает сослагательного наклонения», один из исследователей С.А. Экшут достаточно категоричен: «Контрфактическая модель исторического прошлого позволяет глубже уяснить суть былых событий, четко очерчивая границы незнаемого и непознанного – того, что мы привыкли именовать словом «тайна». Именно в этом качестве контрфактическая модель ведет к приращению научного знания, становится объектом неизбежной полемики и фактом историографии. В истории всегда будет нечто непознаваемое, ускользающее от нашего категориального аппарата. <...> Ремесло историка потеряло бы свою неизъяснимую прелесть, если бы

историку не приходилось время от времени разгадывать тайны» [10, 87].

Простое сравнение удаленных (хронологически, территориально, культурно) лиц и событий не может быть ценно само по себе. За анализом должен следовать синтез. Но данная мыслительная операция отягощена множеством не всегда полностью выполнимых условий. Так, академическая сухость и отвлеченность, допустимые при рассмотрении древней истории, не приемлемы для её новейшей сестры. В последнем случае мешают моральные критерии. Игнорировать нормальному ученому эти ограничения невозможно. Объективно изменчивая мораль максимально агрессивно преследует именно исследователя новейшей истории. И «убегать» от неё нам бессмысленно. Но и ввязываться в схватку наших предшественников, в большинстве своем ушедших в небытие («ты на чьей стороне?») также непродуктивно. Историк не может руководствоваться знаменитым латинским изречением «*De mortuis aut bene aut nihil*» (О мертвых говорят хорошее, или вообще ничего).

Выход из этого тупика только один – сделать все, чтобы понять тех, кто был до нас. Проникнуть в мысли и чувства, может быть, типичных, но некогда реально живших людей, невозможно без вживания в систему их предпочтений, без подключения собственных чувств. Человеческая составляющая исследовательского процесса не отменяет наших нравственных ориентиров и осуждения преступлений, но это осуждение должно дополняться состраданием и сопереживанием к эпохе и жившим в ней людям. Для такого воспроизведения исторического прошлого объективистской терминологии недостаточно. Для «связи времен», связи между поколениями необходим эмоциональный контакт. Родители и дети не утешают друг друга правильными сухими казенными словами.

Видимо, далеко не случайно, что пока не создано классически законченной нашей истории – истории России XX в. Исследователям на их пути создают препятствия нетерпи-

мость, пристрастность, ангажированность, жесткое следование заданным схемам, а по большому счету – личная и коллективная утрата подлинного гуманизма. С известной долей условности, можно считать, что решить эту задачу ученые историки окончательно так и не смогли. Неспособность профессиональных исследователей была частично компенсирована усилиями литератора. В 1990 г., под закат перестройки и СССР, Тимур Кибиров (Заповев Тимур Юрьевич, род. в 1955 г.) опубликовал свою знаменитую поэму «Сквозь прощальные слезы» [11]. В этом тексте, перенасыщенном цитатами, ароматом уже ушедшей от нас повседневности, старыми идеологическими штампами эскизно, «начерно» воссоздана наша непростая недавняя история.

Конечно, его поэма – не исторический труд. Более того, можно смело сказать, что автор *de facto* её и «не написал», ведь большая часть текста состоит из ранее известных клишированных фраз. Появление данного произведения по своему значению достаточно близко к авторскому варианту расшифровки хорошо известного текста, смысл которого ранее был «затемнен». Кибиров, как мог и как умел, попытался создать из фрагментов распадающейся действительности нечто цельное и хронологически последовательное. Далекое не случайно, что И.С. Скоропанова в своем учебном пособии раздел, посвященный Кибирову и его поэме, озаглавила «Каталогизирующая деконструкция <...>». Она же попыталась понять феномен популярности поэта. По мнению литературоведа, причины этого явления ей «не совсем понятны». «Возможно, – продолжает исследовательница, – какую-то роль сыграло введение в соц-артовские тексты лирического «я», о котором хочется сказать: «свой парень». В нем многие, несомненно, узнают себя, точнее обстоятельства, в которых пришлось побывать, переживания человека, побывавшего в этих обстоятельствах» [12, 357].

Узнавание читателем себя в героях поэмы, эффект личного присутствия мало что объясняют. Таких сочинений великое множество. Но далеко не все из них имеют историческую значимость. Так, например, возможное описание в литературном тексте похмельного синдрома будет информацией не исторической, а скорее медицинской и бытовой... Дело заключается не в нарочитом демонстративном популизме поэмы Кибирова, а в системном отборе материалов, использованных для ее построения. Да, в поэме вскрыто множество повседневных примет, но это не главное. «Сквозь прощальные слезы» отнюдь не является паноптикумом запоминающихся происшествий или скопищем забавных анекдотов. Это, в первую очередь, собрание ценностных установок советских людей, искренне преданных коммунистической идеологии.

Если смотреть на поэму именно с этой позиции, то она, несомненно, обладает качествами исторического источника. Тот отбор типичных, привычных и востребованных общественным сознанием сюжетов, который осуществил для конструирования своего произведения Кибиров, превратил его поэму в узнаваемый и достоверный образ ушедшей эпохи. Образ этот откровенно неформален, в нем отсутствуют нормативно-правовые акты, статистические материалы или конкретика человеческих судеб. Поэту важно иное. Он показывает привлекательные завораживающие черты и последующую трансформацию великой мечты в нашей стране, жизнь и гибель наших предшественников, положивших все свои силы на то, чтоб коммунистическую сказку «сделать былью».

Автор не скрывает своего критического отношения к прошлому, но он не столько осуждает его, сколько пытается понять, оплакивая своих соотечественников и их жертвенную судьбу:

*Никогда уж не будут рабами
Коммунары в сосновых гробах,
В завтра светлое, в ясное пламя
Вы умчались на красных конях!*

Такой принцип отношения к истории внушает уважение. В поэме «Сквозь прощальные слезы» цитируются действительно лучшие образцы советской поэзии. Их использование, например, гениальной светловской «Гренады», дополнительно усиливает гуманистическую составляющую произведения. Характерно, что бескомпромиссная и крайне одиозная в своих суждениях антикоммунист В. Новодворская в 2013 г. сумела написать о «Гренаде» и её авторе пронзительные, искренние и теплые слова: «Михаил Светлов [...] перекинул мостик от Серебряного века до испанской войны, до интербригад. Внизу остался ад Гражданской и ужасы ленинско-сталинской мясорубки, а к светлому и доброму идальго Михаилу Аркадьевичу Светлову не пристали ни кровь, ни грязь. Интербригады, Испания, антифашизм, мечта о коммунизме с человеческим лицом – это был святой Грааль поколения, которое полегло в московском ополчении, по дороге на Берлин, на этапах до Колымы» [13].

Своеобразным вступлением к поэме «Сквозь прощальные слезы» выступают описания запахов, окружавших некогда и сейчас еще окружающих лирического героя. Затем осуществляется переход от ароматов повседневности к аромату всего советского периода. Поэтическое описание прошлого, начатое с революционно-романтических событий, последовательно проходит всю нашу советскую историю и заканчивается Перестройкой. Эпilog поэмы – это подлинный реквием об ушедших, молитва обо всех живущих. Начинается он со строк о России:

*Господь, благослови мою Россию,
Спаси и сохрани мою Россию (...).*

Заканчивается эпilog покаянием поэта о прошлом и настоящем:

*Ведь мы еще глупы и молоденьки,
И мы еще исправимся, Иисусе!
Господь! Прости Советскому Союзу!*

Поэма Кибирова – патриотическое произведение. Но его патриотизм негромок, в нем нет привычной для многих записных ораторов истеричности. Отсутствие агрессивности к внешнему окружению дополнительно усилено включением в состав поэмы «Лирической интермедии». Диалог с воображаемым Моцартом заканчивается тем, что главный герой Кибирова возвращается из благополучной, но чужой Европы в Россию:

*Там и холодно и страшно!
Там прекрасно! Там беда!
Друг мой! Брат мой, ночью ясной,
Там горит моя звезда!*

Эта горящая звезда также очередное поэтическое заимствование, она перекликается с заключительными строками знаменитого стихотворения поэта Юрия Кублановского «Россия, ты моя!..» (1978 г.):

*...Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты [14, 80].*

В 1990 г. – канун выхода в свет «Сквозь прощальные слезы» – Кублановский одним из первых смог вернуться из вынужденной эмиграции назад в Россию. Получается, что поэт-постмодернист завуалировано восхищается патриотическим поступком своего конкурента поэта-почвенника, отбрасывая их идеологические и поэтические разногласия. Кибиров понимает, что до подлинного благополучия нашей стране, пока еще далеко. Она – «зона», она – «кровавая баня», здесь по-прежнему «Бьются бесы – кто кого!» И именно поэтому место настоящего патриота России, поэта-гуманиста может быть только здесь.

Тимура Кибирова принято считать иронистом, что, по мнению О. Чухонцева, не совсем верно. «Ироническая

элегия» – так определил критик тот жанр, в рамках которого творит поэт. «Я бы даже рискнул, – размышляет критик, – назвать пафос его стихов антиидиотическим и целомудренным» [15, 261]. К сожалению, И.С. Скоропановой не удалось удержаться на той же высоте в осмыслении творчества Кибирова. Первоначальные рассуждения литературоведа в целом убедительны. «Тоталитарная эпоха, – жестко заявляет критик, – наконец, отошла и, как подобает, труп ее должен быть похоронен, дабы не заражал живущих. Однако, нужно, чтобы люди знали, что именно они хоронят, ибо истинный облик эпохи слишком долго был скрыт от них. Кибиров смыкает грим, облагораживающий тоталитарные черты, и поэтому широко использует материал советской культуры, из пародийно переиначенных осколков которого творит собственный текст. Цитируются строки и ключевые слова из поэтических произведений, революционных и советских песен, различные сюжетные положения из популярных кинофильмов». Далее критик дотошно приводит обширный список из десятков имен авторов и названий использованных в поэме произведений [12, 361-362].

И действительно, на излете советского периода постмодернистская литература во многом выполняла функции если не могильщика, то уж точно прозектора:

*Нас бросала молодость
под лежащий камень
Нас водила молодость
строим по нужде*

*Величала молодость
корешки вершками
и желала счастья нам
в далекой Кулунде [16].*

Злое разоблачительное стихотворение Нины Искренко «Поход эпигонов» (1990 г.) пародирует знаменитые строки Эдуарда Багрицкого из стихотворения «Смерть пионерки»:

*Нас водила молодость
В сабельный поход.
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.*

*Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас [17, 82-83].*

Стоит обратить внимание, что пародийное стихотворение написано уже в другую эпоху и описывает отнюдь не события далекой теперь Гражданской войны. Но один из посылов этого стихотворения вполне соответствует оценкам И.С. Скоропановой поэмы «Сквозь прощальные слезы». По её мнению, тексты Кибирова звучат двусмысленно, он только «притворно соглашается» с цитируемым поэтом. Получается, что автор унижает советских поэтов, ведь он «пародийно их переосмысливает» и, «иронизируя изображает революционного борца» [12, 362-363].

Однако если продолжить данный образный ряд, то складывается следующее ощущение: критик либо никогда не была на похоронах, либо её не научили соответствующим приличиям и ритуалам. При погребении в России действительно плачут, а вот кривляться и произносить двусмысленности в адрес уже ушедших как-то не принято. Любые похороны – это итог пройденного пути и здесь не должно быть никакого двойного дна или двойной бухгалтерии. Пародирование здесь неуместно. В том и отличие Кибирова от других творцов постмодерна, что он не пародирует, а, искренне вживаясь в советское прошлое, сравнивает, итожит. Поэт размышляет о том, к какому благородному

идеалу люди с чистым сердцем стремились, и что из этого вышло (и положительного, и отрицательного). Итог в целом неутешителен. Да, отрицательного оказалось слишком много, хотя бы потому, что цели были ошибочные.

Но не надо думать, что устремления наших предшественников ничего нам, ныне живущим, не дали. Ведь сегодняшний мир стоит на жизни и действиях людей, пришедших сюда и ушедших отсюда раньше нас. Хорошо сказал о перспективах и тупиках нашей отечественной истории А.Г. Данилов: «стремление к свободе, проигрывая в очередной раз, не исчезало полностью и при первой же возможности, как «птица Феникс» возрождалось, стремилось заявить о себе (с разной степенью глубины и масштаба). Память о «несбывшемся» делает «лицо» России более привлекательным» [18, 423]. Заметим, что данное возрождение не возникает само по себе, для этого нужны соответствующие предпосылки. А их можно найти только в том, внешне исключительно «неудачном», прошлом и преданных ему людях.

Что поделать, наши предшественники ошибались, но никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Да, их ошибки часто перерастали в преступления (и преступления эти, что хорошо показано в поэме, нет смысла реабилитировать). Для людей той советской, уже ушедшей от нас эпохи, не было четкой разделительной линии между высокой идеей и преступлением во имя этой идеи. Мы же (в том числе благодаря им) не можем позволить себе такую роскошь. К нам уже приходит, по образному выражению В.С. Высоцкого, «с бесстыдством шлюхи» историческая ясность. Теперь мы не можем, не имеем права закрывать глаза и отказываться видеть грань между заблуждающимся идеалистом и рассудочным циником, между революционным романтиком и откровенным демагогом, между солдатом, выполняющим свой долг и палачом, вполне равнодушным к судьбе своих жертв.

Преодоление собственного негативизма – и в этом пафос поэмы «Сквозь прощальные слезы»! – не может быть осуществлено за счет куража над теми, кто, будучи слабым сегодня, еще недавно, не жалея своих и чужих сил, созидал будущее. Способность нашего современника к пониманию ценностей прошлого есть мерило подлинных человеческих качеств: переживаний, сомнений и действительно искренних «прощальных слез». И Тимур Кибиров в этом стремлении не одинок. Приведем строки из потрясающего стихотворения Александра Городницкого «Старики», написанного в это же время (1990 г.):

*Они умирали в бою,
Черняшку глотали на завтрак,
И жизнь оставляли свою
На завтра, на завтра, на завтра.*

*Мне жалко больных стариков,
Наивных и непримиримых,
За то, что удел их таков, –
Дожить до падения Рима.*

*Свои переживших года,
Упасть не успевших в атаке,
Которым уже никогда
Родной не увидеть Итаки [19].*

Главное достоинство людей советской эпохи – это их жизнь, наполненная высоким смыслом. Другой вопрос, что их идея была в одном варианте на всех, а затем перевоплотилась в казарму и лагерь. Мы – иные, мы ушли много дальше. Сегодня, по мнению В.Н. Шевелева, «человек имеет свободу выбора в каждой точке своей жизни и свободу преодолевать инерцию истории, в том числе навязанную прошлым опытом. В конце концов, история не злонамеренна, но она безжалостна

к тем, кто не совершенствует свои смыслы, свои культурные программы в соответствии с меняющимися условиями. И опыт показывает, что главная опасность не всегда исходит из внешнего мира. Она может корениться в самом субъекте. За всю нашу долгую историю мы не заметили собственного распада, нравственной деградации, приведших нас к самой главной форме бедности – бедности наших решений. Мы недостаточно способны искать и находить пути преодоления все более сложных проблем во все усложняющемся мире» [20, 344].

Проанализированные выше «Генералиссимус», «Трибунал» и «Сквозь прощальные слезы» – это оригинальные художественные произведения. Их общая черта – интертекстуальность (этот постмодернистский термин Ю. Кристевой означает включение одного текста в состав другого). Авторы рассказов намеренно перемешали разновременные пласты прошлого. Им, писателям, было интересно раскрытие характеров литературных персонажей в необычных обстоятельствах, на переломах российской истории. Заметим, что при этом творцы не преследовали исторических целей как таковых. Но конечный результат их художественного вымысла оказался двоякий. Данные произведения являются провокационно расщепленными литературными текстами и они же, одновременно, способны выступать внутренне цельными историческими источниками.

Разумеется, что авторы, создавшие данные тексты, не занимались научными исследованиями. От удачного сведения воедино разнородной противоречивой информации до полноценного исторического анализа «дистанция огромного размера». Но сбор и последовательная систематизация знаковых образов прошлого достаточно близки к первичному этапу труда ученого-полевика или историка-источниковеда. Чем интересны эти данные, собранные и отчасти обобщенные маститыми литераторами? Ускользящими элементами прошлого. Ароматом ушедшей эпохи. Психологически неожиданным, неординарным ракурсом. Провокационной ошибкой разновременных со-

бытий. Разные проекции при реконструкции прошлого позволяют представить нашу историю не примитивно плоскостной картиной, а «выпуклым» живым сообществом в борении неустранимых диалектических противоречий.

Сегодня постепенно формируются новые исторические дисциплины со свежим взглядом и новыми методиками изучения событий прошлого: историческая компаративистика, альтернативная история или контрфактические исторические исследования – «междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого изучается потенциальное прошлое, выраженное в разных альтернативах» [21, 102]. И, естественно, что данным гуманитарным дисциплинам необходима соответствующая интеллектуальная и источниковая подпитка. Расширение состава исторических источников не может не затронуть художественную литературу, в том числе и такой её периферийный аспект, как постмодернистские тексты. У истории и литературы один объект исследования – человеческая жизнь, как удачно реализованная, так и оставшаяся в мечтах и планах: от вершителей судеб – политиков, полководцев, писателей – до обычных людей, заброшенных в этот мир.

Литература

1. Fogel Robert W. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Baltimore, 1964. XV, 296 pp.
2. Неизвестный Всеволод Иванов. Материалы биографии и творчества. Научное издание. М., 1987. 464 с.
3. Игнатъев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 1986. 752 с.
4. Попова С. Микола-шаман // Литературная Россия. 1998. №22 от 29.05. С. 16.
5. Толстая Т. Ночь. М., 2007. 416 с.
6. Веллер М. В одно дыхание. М., 2010. 412 с.
7. Эрлих С.Е. История мифа («Декабристская легенда» Герцена). СПб., 2006. 268 с.

8. Ершов М.Ф. Очерки провинциального мира Зауралья: города и люди конца XVIII – начала XX вв. Ханты-Мансийск, 2010. 299 с.
9. Троицкий Ю.Л. Историческая компаративистика: эпистемология и дискурс // Диалог со временем. 2010. №30. С. 26-32.
10. Экшут С.А. Сослагательное наклонение в истории: воплощение несбывшегося. Опыт историософского осмысления // Вопросы философии. 2000. №8. С. 79-87.
11. Кибиров Т. Сквозь прощальные слезы // Время и мы. Альманах литературы и общественных проблем. М.- Нью-Йорк, 1990. С. 168-187.
12. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. М., 2002. 608 с.
13. Новодворская В. Российская реконкиста // TheNewTimes. 2013. №20 от 10.06.
14. Кублановский Ю.М. Избранное. М., 2006. 352 с.
15. Чухонцев О. Имя поэта // Вопросы литературы. 1995. Вып. VI. С. 259-263.
16. Искренко Н. Поход эпигонов // Юность. №12. 1990. С. 94.
17. Асеев Н.Н., Багрицкий Э.Г., Луговой В.А., Тихонов Н.С. Сборник стихов. М., 1973. 191 с.
18. Данилов А.Г. Россия на перекрестках истории XIV-XIX вв. Ростов-н/Д., 2010. 588 с.
19. Городницкий А. Старики // Использованы открытые данные Интернета: URL:<http://www.gorodnit.spb.ru>. Дата обращения: 12.04.2014.
20. Шевелев В.Н. Все могло быть иначе: альтернативы в истории России. Ростов-н/Д., 2009. 349 с.
21. Нехамкин В.А. Контрфактические исторические исследования // Историческая психология и социология истории. 2011. Т. 4. №1. С. 102-120.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литературные тексты многозначны. Их анализ, осуществленный в настоящей монографии, не претендует на полноту и завершенность. В сущности, такая задача и не ставилась. Автору было важнее иное. Показать принципиальную допустимость широкого использования художественной литературы историками. Попытаться выявить, насколько это возможно, некоторые закономерности эволюции исторических и историко-этнографических источников – текстов литературных произведений. Понять, что именно способен извлечь исследователь из произведения, принадлежащего к определенному историческому периоду. Уяснить, как конкретное время влияло на творчество писателя.

Художественные произведения исторически изменчивы, это факт. Соответственно, меняется и их наполнение информацией, важной для историков. Но, вне зависимости от хронологических рамок, в литературных текстах, в разной пропорции, отображаются историософские проблемы, авторское исповедальное начало и, наконец, множество этнографических, бытовых и повседневных реалий мира прошлого. Литераторы, желают они того или нет, фиксируют в своем творчестве те образы, которые их окружают. Данные образы могут соответствовать объективным реалиям или, наоборот, иметь мало общего с ними.

Главное, однако, заключается в том, что они, эти образы, способны обуславливать поведение отдельного индивида и больших масс людей. Историческая значимость и активность образов требуют от гуманитарного сообщества поисков способов изучения их и тех текстов, в которых они присутствуют. Альтернативы здесь нет. Отказ от познания даже, вроде бы, не существенной части нашей истории, ведет к её искажению и мифологизации. Для современного общества это максимально опасно. Всегда существует потенциальная угроза, что демоны выдуманного прошлого сумеют поглотить наше будущее.

Научное издание

Ершов Михаил Федорович

**Литературный текст как историко-этнографический источник:
по материалам произведений писателей
Югры, Урала и Южной Сибири**

*В качестве оформления использована репродукция картины
Ф.В. Сычкова «Возвращение из школы» (1945 г.),
находящаяся в сети Интернет в открытом доступе*

Подписано в печать: __. __. 2015

Печать офсетная. Бумага офсетная. 13 усл.печ.л.

Тираж: 200 экз. Заказ № 23647-2

Отпечатано в типографии «Сити-пресс»

г.Тюмень, ул. Республики, 211

тел. +7 (3452) 27-37-00, 27-37-17